

ЮРИЙ
НАГИБИН

ПЕРЕКУР

«СОВЕТСКАЯ
РОССИЯ»

**КОРОТКИЕ
ПОВЕСТИ
И РАССКАЗЫ**



ИЗДАТЕЛЬСТВО «СОВЕТСКАЯ РОССИЯ»

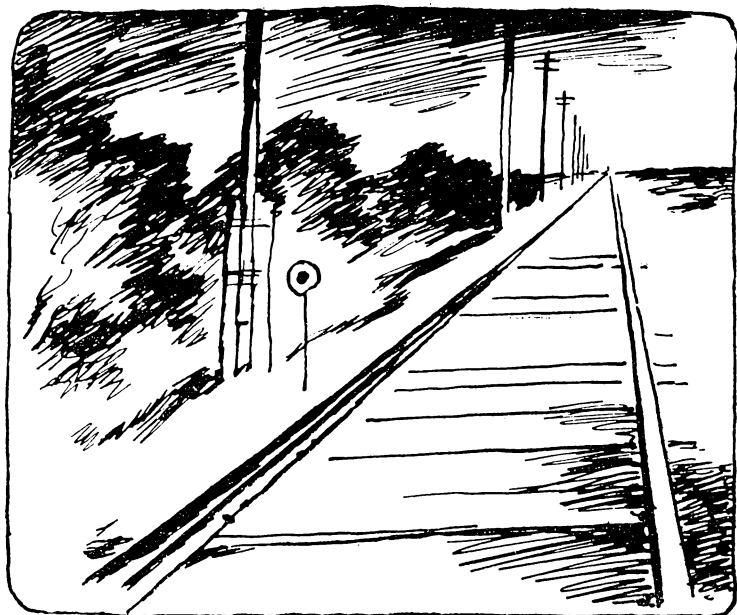
ЮРИЙ НАГИБИН

ПЕРЕКУР

П О В Е С Т Ъ
И Р А С С К А З Ы

МОСКВА
1970

В своем новом сборнике «Перекур» Юрий Нагибин вновь обращается к военной теме, прошедшей через всю его творческую биографию. Но война здесь — тихая, не гремят выстрелы, не рвутся снаряды, не звучит громовое наступательное «Ура!», — тема войны решается в моральном, нравственном плане. И в повести «Перекур», и в рассказе «Дело капитана Соловьева» писатель сталкивает полярные характеры: романтичный Климов — и терпеливый, преданный Федор, демонический Соловьев — и простая девушка Тоня Калашникова. Автор утверждает превосходство истинных, скромных душевных ценностей над мнимой яркостью. К этим основным произведениям примыкает цикл маленьких новелл о гжатском пареньке, летчике-истребителе, впоследствии космонавте 1 Юрии Гагарине, и завершающий сборник рассказ «Единственный поступок».





Климов не предполагал, что этот захудалый поезд еще совершает свой томительно долгий, кружной путь к Ленинграду. Он думал, что нудный рейс — такое же уродливое и необходимое порождение войны, как «пирог с хлебом», «яичный порошок» или «филичевый табак». Он уже совсем было собрался ехать «Стрелюю» в Ленинград, чтобы пересечь там в местный поезд на Неболчи. Оттуда двенадцать с небольшим километров пешим ходом до разъезда, и рукой подать — Ручьевка, зримаая крышами с железнодорожной насыпи. На всякий случай он все же наведался на Савеловский вокзал и навел справки. Оказалось, что рейс сохранился и нет никакой нужды

ехать с пересадкой, а потом еще топтать по шпалам. Разъезд стал маленькой станцией, и пассажирский поезд делал там минутную остановку. Это и обрадовало, и огорчило Климова. Обрадовало потому, что ему не хотелось перебивать душевный настрой ленинградскими впечатлениями,— он слишком остро и сильно ощущал этот необыкновенный город; огорчило же потому, что в превращении разъезда в полустанок проглядывали иные, куда более грозные перемены. Внезапно вся затея стала казаться бредовой и ненужной. Впрочем, бредовой она была с самого начала. Он даже не отважился думать о том, что ждет его в Ручьевке.

И пока поезд тащился на север по прекрасной среднерусской земле, убранной последним октябрьским золотом, причаливал к ветхим вокзалам старинных русских городов, к пахнущим свежим деревом платформам новых поселений, к печальным полустанкам, обитаемым, казалось, одним-единственным человеком в железнодорожной фуражке, Климов упорно вызывал прежний образ Маруси, не делая поправку на минувшие годы, на трудную крестьянскую долю ее, на то, что деревенские женщины вообще рано стареют. Точно так же не брал он в соображение, что Маруся могла покинуть Ручьевку или жить там иным укладом — в замужестве и при детях, давно похоронив память об их давней, короткой любви. Он сознательно цеплялся за прошлое, пренебрегая движением времени. Даже малая серьезность, слабое размышление мгновенно разоблачали ребяческую безрассудность, заведомую несостоятельность его поступка. Прежде чем пускаться в путь, следовало бы списаться с Марусей или хоть с ее семьей, соседями, разузнать о ней, а не действовать наобум. Но тоска, зревшая в нем — как ему теперь казалось — все двадцать лет, вдруг стала нестерпимой. От нее болело сердце, кровь прилиwała к голове, ломалось дыхание, и Климову не раз казалось, что вот-вот наступит смерть. Надо было ехать — в этом единственное спасение. Пусть даже не спасение, ну хоть передышка. В армии это называлось перекуром. Может, после станет еще хуже, но пока — отдохновение, сладкий дым, тишина, отвлеченность. А коли и станет хуже, так по-другому...

Пока что отдохновения не получилось, он всю поездку тревожился, маялся, томился, не мог уснуть. Зато сердце не сжималось ужасом пустоты, и на том спасибо. В дороге он делал разные мелкие открытия. Оказалось, что двадцать лет — мотыльковый срок жизни. Он не мог себе реально представить, что не видел Марусю целых двадцать лет. Они расстались от силы на прошлой неделе — этого вполне достаточно, чтобы затосковать. А ведь двадцать лет — треть человеческой жизни! Неужели он швырнул кошке под хвост

треть своей жизни? Значит, коль все удастся, он будет счастлив лишь тот же смехотворно короткий срок? От этих мыслей — мороз по коже... Но, может быть, все дело в относительности времени? Он не жил эти годы, а лишь готовился к жизни, потому и мелькнули они в своей незначительности и неценности со скоростью ракеты, а двадцать лет с Марусей будут идти, как этот вот поезд, только не в раздражающей, а в пленительной медлительности, дающей возможность приглядеться к милому образу, ко всем явлениям окружающего мира и к собственной душе. И тогда окажется, что двадцать лет — огромный срок: тут успевает свершиться все, ради чего человеку дается жизнь, и ты полностью осуществляешь себя в любви, работе, творчестве, во всем взаимодействии с миром.

Поначалу, возбужденный путешествием, зрелищем зелено-желто-красных лесов, зеленых и бурых полей, голубого чистого неба, птиц, сбившихся в громадные предотлетные стаи, горько-радостным предчувствием перемен, разлитым в осени, он воображал себя молодым и свежим, таким рыцарем, возвращающимся к возлюбленной из дальнего похода. Он много суетился в вагоне, спрыгивал на каждой остановке, покупал ненужную снедь, — ему кусок не шел в горло, — коричные яблоки с темными примятинами и сухие бутерброды у ларечниц, пироги с картофелем и топленое молоко в четвертинках у баб. Он вскакивал на ходу в поезд, цепко хватаясь за шершавые железные поручни и легко бросая тело на высокую ступеньку, рывком взмывал на вторую полку, чувствуя свои крепкие мускулы, и тут же спрыгивал вниз, к пыльному окошку в коридоре. Мимо — в уборную и обратно — курсировали женщины с детьми, мужчины с электробритвами, и ему казалось, что они тоже чувствуют его молодую лихость и даже проглядывают романтический смысл его поездки. И верилось, верилось, что Маруся осталась той, прежней, какой он впервые увидел ее, когда, споткнувшись на пороге и рассмеявшись над собственной неловкостью, вошел в ее дом...

Его вызвали из офицерского резерва неестественно скоро: на фронте было затишье, и люди месяцами ожидали назначения. Но поначалу ему и в голову не пришло, что это сработало медицинское начальство фронта. Он ушел из госпиталя самовольно, с плохо зажившей раной и недолеченным желудком. Он знал, что должен вернуться на фронт, и не хотел бессмысленной оттяжки. Окружающим это казалось проявлением высокого боевого духа, сам же он в глубине души называл это по-иному. Он не верил, что уцелеет на войне. В день получения повестки из райвоенкомата он отчаянно

рыдал в глухом углу двора своего детства, прощаясь навсегда с отцом, домом, товарищами, девушками, которые ему нравились, двором, голубятней, надеждами стать вторым Станиславским (он учился в театральном институте), с любовью к животным и деревьям, к спорту и воде, к Лемешеву и Остужеву, к своему маленькому письменному столу, набитому всеми его последовательно меняющимися увлечениями: фантиками, марками, деталями «Мекано», географическими картами и атласами, кастетами и закладками — и такое было! — химикалиями и пробирками, брошюрами по психологическому анализу, блокнотами и клеенчатыми тетрадями с «размышлениями», ракетками для пинг-понга и лопнувшими целлулоидными мячиками, дневниками, написанными для мнимо-доверительного показа «возлюбленным», и письмами от них.

Это были последние его слезы. Он не плакал, получив на фронте известие о гибели отца в народном ополчении, не плакал, когда на глазах его под Колпином мучительно умирал от раны друг его детства Котик Зимин...

Он считался храбрым командиром, но из-за своей замкнутости, молчаливости, равнодушия к скудным благам трудного Ленинградского фронта не был любим в части. После гибели Котика у него не стало друзей, но он не страдал от этого, скорее, чувствовал облегчение. Котик Зимин, каким-то чудом сказавшийся у него во взводе, нес на себе печать довоенной нереальности, о которой лучше было забыть. С его гибелью тревожный образ бывшего окончательно погас в Климове.

На Ленинградском фронте ко всему, что положено нести солдату, добавлялись голод, цинга, желудочно-кишечные заболевания, дистрофия. До дистрофии у него дело не дошло, но цинготная кровь из шатающихся зубов солила рот, и в ожидании сигнала атаки он плевал кровью снег вокруг себя. А потом он поднимал вверх руку с наганом, застуженным, хрипатым голосом не кричал, а сипел: «За мной!» — и нес навстречу немецкому огню свое обхудавшее, легкое и все равно тяжелое тело, больной ноющий желудок, изжогу и цингу...

Он читал в армейской газете, что бойцы и командиры идут в бой с мыслью о Ленинграде, чье трудное дыхание ощущается у них за спиной, с мыслью о любимых, о родной стране, о берегах и прудах, задернутых ряской. У него в атаке ни разу не возникало ни одной отвлеченной или сколь-нибудь значительной мысли. Чаще всего он просто ни о чем не думал, за него думало тело, твердо знавшее свою задачу: достичь того или иного пункта (обычно достичь этого пункта не удавалось — немцы были тут слишком сильны), иногда мелькала какая-нибудь случайная, пустейшая мыс-

лишка или серьезная, деловая — если он вдруг переставал чувствовать за собой бойцов. Тогда надо было их поднять и вести дальше, что он и выполнял словом и действием. Но он искренне удивился, прослышав, что его считают жестоким. В нем не было никакого ожесточения, даже малой злобы не испытывал он к отставшим, залегшим, струсившим. Оттого, что он никогда не думал ни о березах, ни о девчонках, с которыми когда-то знаясь, ни о заросших прудах, он казался себе каким-то недочеловеком, и это примиряло его с возможной гибелью. Порой ему хотелось спросить бойцов или знакомых командиров: правда ли, что они думают во время боя о таких далеких и красивых вещах, но он стеснялся. А потом ему пришло на ум, что пишут в газетах люди, которые сами в атаку не ходили, да и в обороне не сживали, и потому не стоит им особенно доверять...

Однажды их атака увенчалась успехом, они заняли немецкие блиндажи. Тут он впервые услышал обращенные к нему слова: «За проявленное мужество и героизм...» — и содрогнулся от неожиданности их применения к нему. Мужество... героизм... Это когда в душе что-то действительное, яркое, сознательное, это жертвенная красота поступка, а он воевал, не веря в то, что уцелеет. Он, если на то пошло, ускорял развязку своим так называемым героизмом.

Вскоре его ранило, и он был отправлен в госпиталь по ледовой раскисшей Ладожской дороге на Большую землю. За госпиталем последовало короткое пребывание в резерве: самогон, скучные разговоры, домино, шашки, старые газеты — и неожиданное назначение в какую-то фантастическую тыловую часть.

Он не предполагал, что существует такой род войск, который не уничтожает противника, а изучает его моральное состояние и заманивает в плен с помощью газеты, листовок, радиопередач — все, разумеется, на немецком языке. А он кумекал по-немецки, хотя учил язык только в школе, у него была сильная механическая память. Начальник госпиталя получил медицинское образование в Германии. Случайно обнаружив, что Климов владеет немецким, он стал приходить к нему в палату поболтать на «языке своей юности». Его восхищение Германией, пусть и догитлеровской, раздражало Климова, в отместку он допекал военврача рассуждениями, что немцы всегда были не бог весть чем. Военврач сердился, краснел, потел, клеймил рассуждения Климова «расизмом наизнанку» и в конце концов отомстил ему, натравив на него сотрудников седьмого отдела. Климов вскоре догадался, что это его работа. Бороться оказалось невозможным, ибо он временно числился «годным к нестроевой». Конечно, если б контрпропагандисты не напали

на его след, он сумел бы вернуться на фронт, а так он был связан по рукам и ногам. Видимо, врачу хотелось излечить его от «расизма навыворот». Если б он знал, что Климов болтал просто для подначки!..

— Ну, браток, у тебя начинается серьезный перекур! — с завистью сказал Климову сомученик по резерву майор-танкист.

Климов пожал плечами, он верил, что «перекур» не затянется.

Назначение ему дали в Неболчах, и на случайной дрезине он добрался до безымянного разъезда, неподалеку от деревни Ручьевки, большой, красивой, не тронутой войной. Он без труда отыскал свое новое начальство: печального еврея с каракулевой головой, в звании батальонного комиссара. Тот спросил по-немецки с удручающим акцентом, владеет ли Климов активным языком, и, получив утвердительный ответ, сказал уже по-русски, но с тем же акцентом: «До этого вы убивали немцев, теперь у вас другая задача: помочь им сохранить жизнь».

— А вы уверены, что я действительно убил хоть одного немца? — спросил Климов.

— Но вы же командир взвода! У вас боевые ордена! — беспомощно сказал человек с каракулевой головой.

— Ах, вы это теоретически выводите! — разочарованно сказал Климов. — Я-то думал, вам точно известен мой боевой счет!

Но, видно, не глуп был этот батальонный комиссар с печальным лицом, он сразу догадался, что его провоцируют на вспышку, за которой должно последовать откомандирование дерзкого лейтенанта назад, в резерв. Он кликнул дневального, пожилого бойца в ватных штанах, и приказал ему определить на постой лейтенанта Климова.

— Отдыхайте, — сказал он мягко лейтенанту, — завтра поговорим.

— Может, их к художнику подселить? — предложил дневальный. — Самый чистый дом.

— Очень хорошо! — и каракулевая голова склонилась над бумагами.

Они вышли на широкую деревенскую улицу, обсаженную плакучими березами. Все дома были под железом, стояли широко и крепко; в палисадах — кусты смородины, сирени, круглые желтые цветы. Посреди деревни возвышался бугор, на нем торчал столб с чугунным билом — сельское вече. Они обошли бугор. Солнце, до этого скрытое за белым толстым облаком, высвободилось и ударило в них светом и жаром.

— Задница не преет? — спросил Климов бойца.

— Ишиас у меня, товарищ лейтенант,— отозвался тот чересчур жалобно.

— Ты же по возрасту нестроевик,— заметил Климов,— зачем придуряешься?

— А кто его знает, нынче нестроевик, а завтра самый распередовой строевик...— сомневался боец.

Возможно, Климов продолжил бы этот увлекательный разговор, но тут боец круто свернул к большой нарядной избе с красивыми синими наличниками и резным просторным крыльцом. Потом Климов много удивлялся недогадливости, непроницательности человеческого сердца: ни тени предчувствия, ни слабого сжатия в груди от встречи с судьбой не испытывал он, когда вслед за бойцом поднялся по ступенькам свежего, чистого крыльца, на миг ослеп в сумраке хорошо пахнувших сеней, споткнулся на слишком высоком порожке, скрыл неловкость в коротком, чуть принужденном смешке и оказался в кухне, а в открытой двери, у окна чистой горницы увидел золотую швею.

Солнце било в нее из окна и превращало в золото пшеничные волосы, слабый охряной загар, белое городское платье и полотняную ткань, из которой она шила, обнаженные по плечи полные руки в светлом пушке и круглые гладкие колени. Это было так неожиданно и здорово, что Климов опять засмеялся, глупо и радостно, а боец в ватных штанах сказал:

— Маруська, матери нету? К вам еще одного подселяют.

— Лейтенант Климов! — представился подселяемый, и это прозвучало как-то уж слишком по-лейтенантски.

— Устраивайтесь,— сказала девушка равнодушно. Жители прифронтовых деревень дажно перестали чувствовать себя хозяевами в собственных домах.

Она забрала свое шитье, коробку с иголками-нитками и хотела выйти из комнаты.

— Да работайте тут, ради бога! — воскликнул Климов.— Вы мне ничуть не мешаете!

Девушка молча вернулась на свое место и вновь окунулась в солнце. Выше среднего роста, довольно полная, но легкая, с тонкой гибкой талией, с серо-голубыми глазами и большим свежим ртом, она была красива той широкой, броской красотой, что бьет сразу и наповал. И Климов вдруг обнаружил в себе очень много горячей и жадной жизни. Он знал, что ему не уйти от войны, что перекур рано или поздно кончится, но сейчас просил «миледи смерть за дверью подождать»...

Он прошел в комнату, Маруся вдевала нитку в иголку, чуть

прищурив серо-голубые глаза и приоткрыв от внимательности рот. Что-то перевернулось у него внутри...

Обычно, вспоминая о своей встрече с Марусей, Климов строил ее лишь из солнца, Марусиной прелести и своей мгновенной — до боли, до муки — очарованности ею. Но здесь, в поезде, не нужно было никакой игры, здесь память строила из настоящего материала жизни и не пугалась и того низкого, юношески жестокого, что нахлынуло на него при этой первой встрече...

...— В Ленинград? — голос пробился к нему, как сквозь толщу веков.

Женщина с ребенком на руках, в незастегнутой кофточке, — видно, только что кормила — глядела на него безулыбчивыми, красными от недосыпа глазами.

— Что — в Ленинград? — не понял Климов.

— В Ленинград, спрашиваю, едете? — И так серьезно, озабоченно, будто ей до этого дело есть.

А может, она рассчитывает на помощь? Одинокая женщина с ребенком, с вещами...

— Нет, — сказал Климов, — к сожалению, не в Ленинград.

— Куда же тогда? — она вдруг принялась трясти своего младенца, видимо, получив тайный сигнал, что он сейчас проснется и заорет.

— Вы не знаете... Под Неболчи.

Сколько ей лет? По виду почти старуха. Серая сухая кожа, провалившиеся глаза. А спроси, окажется — и сорока лет. Неужели и Маруся могла так измениться?..

— Отчего же не знать, — чуть обиженно сказала женщина. — Очень даже знаю, у меня муж из тех мест.

— А деревню Ручьевку вы знаете? — замирая, спросил Климов.

— Нет, не слыхала... А вы кем работаете?

Она не ждет никакой помощи, просто и ее захватила мировая суета, заставляющая людей вступать в ненужное общение, говорить множество лишних слов, совершать массу лишних поступков.

— Я работаю в кино.

— Артистом? — уважительно спросила женщина и опять затрясла младенца.

— Режиссером, — ответил он, удивляясь своему неистребимому педантизму; ну, сказал бы: да, артистом, и делу конец, а теперь...

— Это, к примеру, как понять? — спросила женщина без всякого интереса в усталых, запавших, редко моргающих глазах.

— Я картины ставлю... кинофильмы.

Он смутился. Пока что он поставил одну-единственную картину, к тому же еще не вышедшую на экран. Правда, как это не-

редко бывает в кино, обычно варящемся в собственном соку, судьба картины уже состоялась, а с нею решилась — весьма счастливо — и его собственная судьба. Картина, поставленная на одной из окраинных студий, неожиданно-негаданно оказалась «событием». Посланная на второстепенный международный фестиваль, она получила Гран-при, была расхвалена в газетах, и Климова пригласили работать на крупнейшую столичную киностудию. В малом мире кинокартина явилась событием первостатейным, но что стоила вся эта мышьяная возня в мире человечества? Картина, в общем, удалась, в ней была правда, простота и сила, на фестивале она буквально ошеломила и зрителей и членов жюри, но обязана она была этим прежде всего самому материалу действительности, мало кому знакомому, своеобразному, жгуче-горестному. Про себя Климов грустно шутил, перефразируя Флобера, что «жемчужное не получилось». С большим же багажом едет он к Марусе — с одной картиной, чья реальность может быть подтверждена лишь газетными вырезками, да и тех он не захватил. Конечно, Маруся поверит на слово, что фильм хорош, а он — подающий надежды молодой (это в сорок-то с лишним лет!) кинорежиссер. Но что же делал он остальные годы?.. По окончании войны немецкий язык еще раз «подвел» его, он на пять с гаком лет застрял в Германии. Потом учился в киноинституте, много лет полз по иерархической кинолестнице: от ассистента до режиссера-постановщика. В середине пятидесятых годов картин ставилось не так уж много, когда же производство фильмов резко возросло, он уже прочно завяз в болоте второй режиссуры. Молодые ребята, оканчивающие ВГИК, получали самостоятельные постановки, а он, опытный производственник, работавший с крупнейшими мастерами, не мог добиться даже короткометражки. Режиссеров-постановщиков на студиях — хоть завались, а хорошие вторые режиссеры ценились на вес золота. Надо считать сказочным везением, что его отпустили на маленькую окраинную студию, где ему была обеспечена самостоятельная постановка. Права поговорка: обещанного три года ждут. Ровно столько пришлось ждать Климову. Но он дождался. А все-таки жемчужное не получилось...

Он зря боялся, что женщина спросит, какие фильмы он ставил, ее интересовало нечто более существенное.

— И много за это платят?

Климов хотел сказать «нет», но смекнул, что женщине его зарплата может показаться значительной, и ответил уклончиво:

— Кому как.

— Вам, к примеру, сколько же?

— Я получал сто восемьдесят рублей.

— Господи, целая область денег! Муж у меня бригадиром грузчиков работает, и то столько не берет. А ихняя бригада за звание коммунистической борется.

— Нам приплачивают за вредность производства,— пошутил Климов.

— А-а! — женщина немного успокоилась.— Вроде как на химкомбинате. И молоко дают?

— Нет,— с сожалением сказал Климов,— молоко у нас не больно в почете.

— А зря,— сказала женщина,— наши только им и спасаются...

Этот бессмысленный разговор чем-то встревожил Климова. О причине своей тревоги он догадался вечером, когда пошел мыться перед сном. В узенькой поездной уборной, где качало как в шторм и дребезжал сам воздух, он увидел себя в мутноватом зеркале, висящем сбоку от умывальника. То ли верхний свет, черно наливающий тени, то ли качество зеркальной глади тому виной, но до чего же старым и заношенным показалось Климову собственное лицо! Морщинистый лоб, темные подглазья, подбородок потерял былую жесткость, стал круглее, мягче, терпеливей.

Климов погрузился. Пустившись в эту поездку с лейтенантской лихостью, он верил, что способен начать новую жизнь. Но бледное, обобранное лицо, глянувшее на него из сортирного зеркала, убивало надежду. Самое печальное в этом лице не морщины, не подглазья, а какой-то неуловимый знак примиренности, покорности, что ли... Лицо неудачника. Неужели он сдался? Да нет же! Бредовость этой поездки — лучшее доказательство, что в нем еще хватает жизни и безрассудства. А может, он заварил эту кашу ради самообмана, чтобы доказать себе: я еще могу?.. Нет, неправда! Никакой игры с собою тут не было. Маруся стала так неотвязна, что с этим нельзя было дальше жить. Лучше убедиться, что она потеряна безнадежно, и освободить душу. А так с уме сойдешь. Но он верил: если Маруся жива, то пойдет за ним, не может не пойти, тому залогом прошлое, не увядшее в нем за двадцать лет. В нем... Но разве Марусина душа была беднее?..

Климов не верил в неразделенную любовь. Он считал, что настоящая любовь всегда добивается взаимности. Неудачи бывают, лишь когда человек заблуждается в силе и глубине своего чувства. Самоубийство на почве неразделенной любви — ложь, причина тут в оскорбленном самолюбии, психической неполноценности, бессилии жить дальше, маскирующемся под душевную драму.

Климов еще раз посмотрел на себя в зеркало. Он был без рубашки, и зеркало ничего не могло поделать с его сильным сухим торсом: все мышцы выразались так отчетливо, что хоть ана-

томию изучай. И будто непричастное к этому отличному мускульному аппарату, устало желтело лицо...

— Что вы шьете? — спросил он девушку.

— Так...

Даже удивительно, насколько его приход не произвел на нее впечатления. А ведь он как-никак лейтенант, и два ордена на гимнастерке, да и собой не урод.

— Художник где спит?

Она показала на кровать, стоявшую изголовьем к окну, возле которого она шила. Стало быть, ему предназначается кровать у стены против окна, нарядная, с атласным покрывалом и горой подушек.

— А куда девать всю эту красоту? — он кивнул на роскошное ложе.

Маруся отложила шитье, бережно и ловко сняла покрывало, свернула и спрятала в комод. Затем убрала и всю остальную постель. Раздетые подушки в мелких перышках по лоскутному ситцу выглядели некрасиво и как-то обидно.

— Знаете, — сказал Климов, — когда я был маленький, то называл почему-то эти перышки хоками и ужасно их боялся... По правде, я их и сейчас боюсь.

Девушка не потрудилась улыбнуться.

— У вас постельного белья нету? — это прозвучало не ахти любезно, но с готовностью помочь. И на том спасибо.

— В окопах оно, знаете ли, без пользы... («И чего это я выпендриваюсь, будто на складе служил?»)

Она молча достала простыни, наволочки, правда, другие, не такие белые, не крахмальные, и с жесткой профессиональной хваткой постелила постель, где надо подогнула, где подоткнула, где заправила.

— Спасибо, — сказал Климов. — Вы что — в госпитале работали?

— С чего взяли?

— Больно стелете ловко.

— Я в домработницах жила, в Ленинграде. Хозяйка строгая — быстроты требовала.

— А знаете, я из-под Ленинграда.

— Правда? — Она впервые поглядела на него с вниманием. — Как он там?

Она спросила, словно о близком человеке, и Климову стало не по себе, лучше в этой разведывательной беседе оставить Ленинград в покое...

— Живет и борется! — отрубил он.

— Да это всем известно! — в голосе ее мелькнула досада.— Я про город. Как улицы, дома?.. Людей-то мы иногда видим, плохи они, так плохи!.. А город, есть он еще?

— Город есть,— сказал Климов,— и даже не очень пострадал.

Будь он в ином настроении, он мог бы рассказать, как по утрам к ним на передовую заползали ленинградские дымы: тощие, тающие дымки железных печурок и могучие, проходящие верхом, как облака, дымы Кировского завода. Боец Савельев, охтинский парень, приговаривал: «Видали, немец вон где, а наш городок знай себе покуривает». Климов вдруг умилился этой фразе, которая прежде раздражала его, как всякое слютяйство.

— Эх, Ленинград!..— вздохнула Маруся, вновь принимаясь за шитье.— Кто раз увидит, сроду не забудет.

Святая правда, но ему не хотелось вести бой на этом плацдарме, и поскольку ничего толкового не подворачивалось, он снова спросил:

— Что шьете-то?

Но Марусе ее работа представлялась настолько незначительной, что она лишь головой тряхнула: мол, есть о чем говорить!

— Здесь можно курить?

— Господи, еще спрашивает! У нас же проходной двор! — она засмеялась. Ее смех и признавал законность творящегося вокруг, и вместе отвергал как постоянный уклад жизни.

— А где все ваши? — спросил Климов.

— Мать с сестренками на току, отца убили, братишка в армии...

Сколько захожего военного люда обращалось к ней с одними и теми же вопросами, и она выбрасывала ответы механически, как касса — чек. Интересно, что принято спрашивать дальше? На каком фронте воюет брат?

— На здешнем, Волховском,— опережая его вопрос, сказала Маруся.— Он двадцать четвертого года, сестренка одна — двадцать шестого, другая — тридцать пятого, а я уже старая.— Касса испортилась и выбрасывала чеки сама по себе.

— Какая же вы старая? — услышал Климов будто со стороны.— Вы — в самый раз!

(Неужели он сказал эту пошлость?)

— Нет, наше дело пожилое. Все в прошлом! — Она говорила машинально, по привычке, думая о чем-то совсем другом, быть может, серьезном и печальном, но некоторый смысл все же содержался в ее словах, и Климов вскоре догадался, что она несколько поспешно, но честно и прямо определяет их отношения: не тратьте даром сил и времени, молодой человек!..

«Н/, это мы еще посмотрим! — обозлился Климов. — Прежде всего, никаких предложений я не делал, и посылать меня рано. А что, если делал?.. Наверное, делал, сам того не замечая. А она куда взрослее и опытнее меня, сразу это поняла. Что за чушь? Я старше года на три, и у меня уже были женщины... Но, вспомнив этих «женщин», он погрузился: институтские девчонки, такие же незрелые и застенчивые, как он сам. Здесь же валом валит военная бражка, привыкшая ловить счастье на лету, и Маруся научилась распознавать этих ловцов с первого взгляда. Но я-то на самом деле вовсе не такой, — подумал он с внезапной обидой. — У меня на войне никого не было, мне это и в голову не приходило. А что вообще-то у меня было? Вера, с которой мы сразу расстались, потрясенные безобразностью того, что люди называют любовью: Верина двоюродная сестра, подхватившая меня Вере назло, и Женька, милая, нежная, но мне, как это говорится, не удалось ее раскрыть, и она оставила меня, вышла замуж, но и мужу не удалось ее раскрыть, и мы опять стали встречаться, только без прежней радости, нам было стыдно друг друга и этого дурака, ее мужа, а бедная Женька так и не сумела раскрыться...»

Он чувствовал себя почти оскорбленным нечистой Марусиной пронизательностью. Если б можно было сказать: давай начнем сначала, никакой я не бабник и не лейтенант с пистолетом, я просто мальчишка и ни черта ни в чем не смыслю. Но ты мне нравишься, мне никто никогда так не нравился: ни Вера, ни ее двоюродная сестра, ни даже Женька, хотя она мне сначала здорово нравилась. Но все это не то... Только не надо меня сразу гнать, а то я не успею достичь тебя. Мне так хочется поцеловать тебя, прежде чем сдохнуть. Ну хотя бы поцеловать, я не решусь на большее, да и нельзя, наверное, ведь ты маленькая...

Маруся отложила шитье, послушавила уколотый палец и убрала работу в комод. Солнце покинуло окна, комнату наполнял спокойный тихий свет, и Маруся стала в нем еще лучше. Климов удивился выражению терпеливой человечности на этом почти детском лице. Эта, вечерняя, Маруся знала о жизни гораздо больше, чем золотая швея, она была сложнее, — лихой, бравый лейтенант тут совсем не подходил, но это давало надежду Климову, ведь он был куда дальше от лихого лейтенанта, чем от жалкого, растерянного мальчишки, так недавно плакавшего в глухом углу двора своего детства.

Маруся вышла из комнаты, предварительно забрав у Климова банку из-под консервов, полную окурков. Банку она опорожнила в помойное ведро, ополоснула и вернула Климову, ни разу не взглянув на него. Новый постоялец скользнул мимо ее души...

А вечером Климов пил разведенный сырец со своим соседом по комнате, художником Заборским. Художник пришел в сопровождении кареглазой связистки и, хотя присутствие Климова явилось для него полной неожиданностью, не смутился и не огорчился.

— Нюсенька, моя пе-пе-же,— представил он связистку.

Девушка засмеялась:

— Ну и хам! Вы видели таких хамов?

— Нарушаешь!.. Я разве разрешил тебе обращаться к лейтенанту?

— Товарищ интендант третьего ранга, разрешите обратиться к товарищу лейтенанту?

— Разрешаю,— важно сказал художник.

— Товарищ лейтенант, разрешите доложить, что товарищ интендант третьего ранга — ужасный хам!

— По форме правильно, по существу поклеп,— изрек художник.— Наряд вне очереди! К исполнению!

— Да где же я достану? — жалобно сказала связистка.

— У Васьки Шведова, в обмен на одеколон.

А когда связистка побежала выполнять боевое задание, художник сказал, как-то разом постарев широким рязанским лицом:

— Не принимай всерьез мою трепотню. Люблю я ее... Да ведь молодая, надо строго держать.

Он поднялся и вышел на кухню, Климов услышал его голос:

— А Маруся где?

Ему что-то ответили, он огорченно выругался: «А, черт!»

— Не везет вам,— сказал он Климову.— Хотел вас с хозяйской дочкой познакомить. Такие вам не снились. Это, доложу я вам...

— А мы познакомились,— прервал Климов.

— Вон что... Любаша! — вдруг гаркнул художник во всю силу легких.

И сразу, как лист перед травой, перед ним встала босоногая голенастая девчонка лет шестнадцати, лицом и красками вылитая Маруся, но иной, удлинненной породы.

— Чего вам, Виктор Николаевич?

— Ничего! — рявкнул художник.— Довольно тебе хорошеть. Брысь отсюда!

Девчонка рассмеялась, кокетливо поглядела на Климова и скрылась.

— А-а? — сказал художник, и красноватое лицо его стало вишневым.— Какая прелесть! Даже лучше Маруси. И сколько в России таких красавиц!.. Чудное поколение созревало. Жалко девчонок. Пустоцветы растут. Не хватит нашего брата на всех...— Он достал

из-под кровати холст, набитый на подрамник: из хаоса мазков проступало нежной охряной смуглоты Любашино, а может, Марусино лицо об один серо-голубой глаз.

— Начал писать, да времени нет,— пожаловался художник.— Все Гитлера портреты творю, чтоб ему повылазило! Ох и надоел мне Адольф! Всем надоел, а мне особенно. Такая прелесть на холст просится, а я знай рисую чуб да усишки проклятые.

— Это Люба или Маруся? — спросил Климов.

— Любаша, конечно! — даже обиделся художник.— Неужто вы тон не чувствуете? У нее же все краски теплее.. Кстати, насчет Маруси особо не обольщайтесь. Сюда старший лейтенант похаживает. Серьезный мужчина, голова как ядро, такой не отступится.

— А неплохо вы тут отдыхаете,— заметил Климов.

— Не говори! Рай, сущий рай! Когда мы в Вишере стояли, нас бомбили и в хвост и в гриву. Раз прямо в наше присутствие угодило — двоих в лоскутья. А в Дорé, под Вишерой, бомбили редко, зато клопы зажрали — тоска зеленая! Клопы хуже бомбежки. Боже мой, чего я только не делал: и огнем их жег, и керосином, и ДДТ обсыпался с ног до головы — ни черта не помогало. У них этот порошок вонючий за пудру шел. Ставил ножки кровати в банки с керосином, так они, гады, заползали на потолок и оттуда падали на меня. Барабанили по простыне, как град по крыше. Вскочишь ночью — все тело в огне, простыня красная и шевелится. И такая злба и бессилие, хоть плачь! Коробка два спичек изведешь — минут десять сна выиграешь. А здесь ничего похожего, быт северный, чистый, люди с уважением к себе и к окружающим живут... А Маруся будет наша! — и он потянулся стопкой к Климову.

Вошла Нюсенька с чугуном вареных картошек.

— Предупреждаю,— сказал художник,— нам с Нюсенькой передислоцироваться некуда, будем жить а-труа... Нюсь, ты как думаешь, будет он иметь успех у Маруси?

— Конечно,— серьезно и убежденно сказала Нюсенька.— Какое может быть сомнение?

— Почему вы так думаете? — удивился Климов.

— Так у вас же волосы темные! — усмехнулась Нюсенька.

Как ни странно, это качество и в самом деле чрезвычайно ценилось в Ручьевке. На следующий день, довольно рано вернувшись из «присутствия», как называл художник редакцию газеты для войска противника, Климов случайно подслушал разговор деревенских девушек, пришедших в гости к Марусе.

— А он ничего? — допытывались девушки.

— Худой, а так хорошенький,— это сказала Люба.

— Худой? Он нешто с Ленинградского фронта?

— Ага... Сейчас-то из госпиталя.

Почему Люба так осведомлена на мой счет? Неужели жизнь сыграла одну из своих обычных злых шуток и подарила мне сердце младшей сестры? «Дар напрасный, дар случайный»... Вернее, дар опасный...

— Дистрофик? — продолжали допытываться девушки.

— Не-а! Вполне в себе, не опухлый.

— Как звать-то?

— Алексей Сергеич... Алешенька! — нежно пропела шестнадцатилетняя Люба и засмеялась.

— Не вахлак?

— Темноволосый! — веско, голосом, за которым ощущалась высокая, просторная грудь, сказала Маруся.

— О-о!.. Вон-на! — уважительно отозвались девушки.

Климов уже успел приметить, что здешний народ — сплошь и прекрасно светловолос, еще немного, и быть бы ручьевцам альбиносами, но они успели вовремя остановиться, на самой последней грани, и не обрели при белесости волос ни бледной, мертвячьей кожи, ни кроличьей красноты в глазах, ни бесцветья бровей и ресниц. Верно, ощущая эту альбиносию опасность, они ценили темные краски, что было на руку смуглому бронецу Климову с монгольским разрезом темных, ночных глаз.

— Здравия желаю! — послышался из кухни вежливый мужской голос.

Затем сочно заскрипели хорошие, новые сапоги. Девчата отозвались вразнобой: «Здорово!.. Наше вам!.. Привет!.. Здравствуй, Федя!..» При всем дружелюбии, голоса их звучали равнодушно, без подъема. Пришедший человек был тут привычен, признан, но особых восторгов не вызывал. Климов сразу решил, что это и есть старший лейтенант, о котором говорил накануне художник. Он припомнил, что не слышал Марусиного голоса в общем хоре, и это равно могло быть и хорошей, и дурной приметой: то ли небрежность, то ли не нуждающееся в громком свидетельстве взаимопонимание.

Девушки не разошлись, а продолжали свое вяловатое общение. Насколько Климову было известно, по правилам деревенской вежливости жениха и невесту принято оставлять вдвоем. Впрочем, все сведения о деревенской жизни носили у него книжный характер и касались в основном дореволюционной деревни. С приходом старшего лейтенанта разговор о новом постояльце прекратился, да и о чем было говорить после исчерпывающего заявления Маруси? А тут явился пожилой боец в ватных штанах и потребовал Климова к началству. Климов надел ремни, пилотку и отправился в «присут-

ствие». Минувя кухню, он поздоровался с девушками и сидящим за столом, на лавке, спиной к окошку, круглолицым старшим лейтенантом. Тот, хоть и находился в помещении, пилотку не снял и мог по всей форме ответить Климову. Опрятно, даже нарядно выглядел старший лейтенант, ничего не скажешь: свежая летняя гимнастерка, красивая портупея, блестящие хромо́вые сапоги, а у Климова — гимнастерка зимняя, ношенная-переносенная, ремни истерлись, на ногах — кирза, стоптанные каблуки. Зато щеголевато сидящая на круглой крепкой голове старшего лейтенанта новенькая пилотка открывала редкие белесые волосы короткой стрижки. Старший лейтенант принадлежал к жалкому племени рано лысеющих бесцветных блондинов, и тут уж едва ли поможет ладная фигура, хорошее правильное лицо, нарядная, только что со склада одежда..

Редактор вызвал Климова по важному поводу: нужно было перевести два письма немецких военнопленных.

— А я думал, наступление началось,— заметил Климов.

Редактор задумчиво посмотрел на Климова.

— Мы на войне, товарищ Климов.

— Да нет же,— нахально сказал Климов.— Мы в деревне Ручьевке. Война происходит совсем в другом месте.

— Я вижу, вам очень хочется туда?

— Да,— сказал Климов,— это правда, товарищ батальонный комиссар.

— Но вам придется поработать здесь,— не повышая голоса, продолжал редактор.— И лучше нам скорее найти общий язык.

— Не играйте со мной в войну,— сказал Климов.— Я понимаю, надо держать в напряжении вашу команду, чтобы окончательно не разложились, но со мной это лишнее. Не надо меня дергать.

«Чего я, собственно, взелся на него? Больше года никому не возражал. Мне приказывали — я выполнял. С чего я так разошелся? Мне же не хочется, чтобы меня выгнали отсюда. Вчера еще хотелось, а сейчас не хочется. Я только вхожу во вкус перекура, я давно не курил».

— Вы не обращались к невропатологу? — спросил редактор.

— Меня осматривал невропатолог перед выходом из госпиталя.

— Ну и что он сказал?

— Рекомендовал не нервничать.

— Я присоединяюсь к нему. Переведите из писем лишь места, характеризующие настроение немецких солдат, и все, связанное с Ленинградом, если там будет о Ленинграде.

— Есть перевести! Разрешите?

Редактор прижал к груди большие костлявые руки.

— Минутку! Очень прошу вас, хотя бы когда мы вдвоем, об-

ходиться без воинского жаргона, у меня от него трещит голова. Я ведь штатский человек, историк.

— Хорошо,— улыбнулся Климов.— Спокойной ночи.

...В доме танцевали под патефон. Крутилась знакомая со школьных лет, через всю юность проводившая «Китайская серенада». Маруся танцевала с высокой, белобрысой даже на местном светлом фоне девушкой, Любаша — с вертлявой, на возрасте, почтальоншей, художник — со своей Нюсенькой. Старший лейтенант не танцевал, он, как привязанный, сидел на том же месте за столом, прямой, щеголеватый и бессмысленный. Маленькая, рано постаревшая Марусина мать наблюдала с печки за танцующими. Возле нее притулилась стриженная под мальчишку младшая Марусина сестра.

Климов не успел шагу ступить, как его перехватила бойкая почтальонша.

— Идем танцевать, мёдочка, нечего компанией брезговать.

— Никто не брезгует. А почему старший лейтенант не танцует?

— Нога болит, на мину наступил. Ну, веди меня, мёдочка, что ты квелый такой.

Климов повел почтальоншу. Она сообщила ему, что ее зовут Лида и что она хорошая девочка. Климов привык считать, что танцует неплохо, но почему-то они все время ошибались.

— Ты елочкой не умеешь? — спросила почтальонша.

— А черт ее знает! Может, и умею, только не знаю, что это такое.

Видимо, Климов все-таки не умел танцевать «елочкой», потому что с «седой» Асей, и с тонкой, легкой Любашей тоже сбивался, а вот Марусю пригласить он так и не отважился. Когда он вторично повел почтальоншу, она вдруг сказала:

— Чего же ты Марусю не пригласишь?

— Жениха стесняюсь.

— Федьку-то? А чего его стесняться? Подумаешь, жених... Таких женихов, знаешь!.. А что он сюда ходит — вольному воля.

— А Марусе он нрзится?

— Ну, это ты, мёдочка, сам у нее спроси. Пригласи и спроси, тебе же хочется,— добавила она с мгновенной злостью.

Откуда она знает? Художник, что ли, сболтнул? Или я сам себя чем-то выдал? Я почти не гляжу в Марусину сторону, не обмолвился с ней и словом. Может, как раз этим? Маруся — местная королева, и если человек так старательно ее избегает — значит, дело нечисто. Наверное, и старший лейтенант кое-чего смекнул своей круглой крепкой головой. Значит, и Маруся знает? Вот было бы здорово! Я совсем не умею объясняться. Впрочем, в подобных обстоятельствах пронизательность окружающих куда выше, чем

действующих лиц. Маруся одна может ни о чем не догадываться. Надо все-таки пригласить ее...

Но пока он собирался с духом, танцы прекратились, а патефон голосом Печковского стал прощаться с каким-то чудным краем:

Прощай, чудесный край, невозвратимый,
Тебя навек я с грустью покидаю...

Правда, что Печковский попал в плен к немцам? Тогда эта песня приобретает особенно грустный смысл. Нельзя брать в плен теноров, они же дети...

Пластинка кончилась, и все дружно пристали к Марусе сыграть «Васильки». Маруся сняла со стены гитару с бантом, села прочно, нога на ногу, и, склонив голову к деке, чуть неуверенно взяла аккомпанемент, потом запела, и хор подхватил с воодушевлением апухтинские «Васильки». Пели с отсебятиной:

Я ли тебя не любил, я ли тобой не гордился,
След твоих ног целова-а-ал, чуть на тебе не женился...

Они старательно, истово спели до конца очень длинную — еще длиннее апухтинских стихов — песню, и Маруся сразу начала другую, и тут уж ей не подпевали:

Средь полей широких я, как лен, цвела,
Жизнь моя отрадная, как река, текла.
В хороводах и кружках — всюду милый мой
Не сводил с меня очей, любовался мной...

Климов вдруг разволновался, какие-то интонации Марусиного голоса задели его за живое. Черт возьми, оказывается, художественная литература бывает похожа на жизнь! «Casta diva» Обломова, соната Вентейля, вернее, одна ее фраза, мучительно-сладко ранившая Свана!.. Мне нравилось об этом читать, но я не верил, что музыка может так пронзить человека, наверное, потому, что сам я недостаточно музыкален. Но сейчас со мной творится что-то странное, еще немного, и я разревусь. Этот переход ко второй строке...

Все подружки с завистью всё на нас глядят,
«Что за чудо парочка!» — старики твердят...

Ах, боже мой, мне счастливо, как никогда не бывало, и мне жалко всех, кого я не дожалею. Бедный отец... бедный Котик... и мама бедная, умерла совсем молодой... Мне хочется поцеловать Марусю. Не так, как вчера хотелось. Поцеловать в голову, в щеку. Она милая, нежная и умная, если может так петь. А ведь она едва

владеет аккомпанементом, да и петь-то не умеет, но она прекрасно поет, она поет сердцем, так, кажется, принято говорить...

Когда Маруся допела песню, он попросил:

— Можно еще раз?

И она сразу, нисколько не удивленная и не ломаясь приличия ради, запела:

Средь полей широких я, как лен, цвела...

Ему хотелось попросить ее спеть в третий раз, но тут откуда-то возникла стриженная под мальчика, городского обличья пожилая женщина и вырвала у Маруси гитару.

— Дай, ну, дай же! — говорила она, хотя Маруся без сопротивления отдала ей гитару.

— Садитесь, Вера Дмитриевна, — ласково сказала Маруся, уступая ей место.

Женщина села, в зубах у нее тлела самодельная замусоленная сигарка. Она подкрутила колки, выплюнула папиросу, ее худые скулы кирпично вспыхнули, и, потрянув серыми волосами, она запела хрипло, но очень музыкально шансонетку нэповских времен: «Разрешите же, мадам, заменить мне мужа вам, если муж ваш уехал по делам», — билось в уши и в сердце Климову. Иногда такие вот дурацкие песенки пела мать, вспоминая свою юность, но она пела их насмешливо, а эта женщина с серыми волосами и голодными скулами — мрачно и страстно. «Без мужа жить — сплошной обман, а с мужем жить не стоит вам. Разрешите же, мадам, заменить мне мужа вам, если муж ваш уехал по делам...» — запавшие глаза ее сухо блестели, бледный рот кривился.

— Ленинградка, — наклонившись к Климову, шепотом сказала Маруся. — Вся семья с голоду погибла.

Через некоторое время Климов спохватился: почему Маруся заговорила с ним, да еще так доверительно? Он ни о чем не спрашивал, даже не глядел в ее сторону.

Когда уже все расходились, ленинградская женщина подошла к Климову и сказала отрывисто, словно бы недовольно:

— Ленинградец?

— Нет, москвич.

— Врете! По лицу вижу, что ленинградец.

— Уверю вас... — начал Климов и вдруг сообразил, что к чему. — Я, правда, с Ленинградского фронта...

— Ну вот, зачем же спорить? Я ленинградский штемпель сразу узнаю. Табачку, земляк, не найдется?

Табак у него был, сейчас он курил мало. Женщина взяла пачку «Кафли», понюхала тонкими беспокойными ноздрями.

— После войны сочтемся...— она со странным кокетством поглядела на Климова.— «Разрешите же, мадам, заменить мне мужа вам, если муж ваш уехал по делам»... Уехал, можешь себе представить, земляк, навсегда уехал!.. По делам... И ведь не заменишь, нет, никем не заменишь!..— серая голова странно задергалась.

— Уходите! — прикрикнула на него Маруся.— Чего уставились?

Она обняла женщину за плечи, что-то зашептала ей на ухо и повела к дверям. Та шла послушно, держа в опущенной руке, худой и старой не по возрасту, пачку «Кафли».

Климов стянул сапоги и прилег на кровать. В комнате было темно, лишь в неплотно прикрытую дверь проникал свет керосиновой лампы. Художник и Нюсенька куда-то отлучились. Климов был рад их отсутствию, ему хотелось разобраться в своих впечатлениях. Он прикрыл глаза. Кто-то тронул его за плечо.

— Спите или притворяетесь? — услышал он Марусин голос.

— Притворяюсь,— ему казалось, что он слышит, как неприлично громко бьется в нем сердце.

— Вы не подумайте чего не надо,— заговорила Маруся.— Она очень хорошая женщина. Очень умная и интеллигентная.

— А что я мог подумать? — растерялся Климов.

— Да вот с табаком,— неохотно сказала Маруся, словно досаду на его недогадливость.— Просто это привычка такая. Она для своих собирает. Забывает, что они погибли. А потом, как вспомнит, все назад раздает, только не знает, у кого что брала, и опять мучается. И не надо так на нее смотреть, будто она не в себе. Вы лучше поговорите с ней, увидите, какая она умная и начитанная. И на гитаре играть я от нее научилась. Она и на пианино играет!.. Вам принести лампы?

Климов отказался, и Маруся вышла.

«Ну что ты дрейфишь, скотина? — спросил он себя.— Хоть бы за руку взял, хоть бы сказал что-нибудь...»

И тут сразу пришел художник и стал поздравлять Климова с успехом.

— Марусенька выскочила отсюда в чрезвычайно приподнятом настроении. Молодец, пехота!

— Слушай, богомаз,— сказал Климов тем особым голосом, какого у него не было до войны.— С этой минуты ты о Марусе со мной не говоришь. Только если я сам начну. Понял?

Художник присвистнул.

— Мог бы то же самое сказать по-другому.

— Так вернее,— заключил Климов.

А ночью, впервые с начала войны, ему приснился сон. Страннейший сон. Какая-то гофманиана.

Дело обстояло примерно так: в замо́к, владельцем которого был он, Климов, попросились на ночлег знатные путники, во всяком случае, они выдавали себя за таких: рослый, смуглый, мрачный мужчина в зеленом кафтане, красных облегающих штанах с гульфом и красной войлочной шляпе, как у Людовика Святого, но без серебряных образков, и две женщины в пышных бордовых бархатных платьях и шляпах, напоминающих сахарную голову. Зал, где Климов принимал путников, был набит до отказа, он узнавал родную плоть, именно так, а не «близких, родных людей», ибо в них было нечто аморфное, они как бы перетекали, переплавлялись друг в друга: мать становилась Марусей, отец — Котиком, и вдруг оба они превращались в его старую, давно умершую няньку, а затем вновь обретали раздельное существование, но в них странно мерцали и его школьные учителя, и товарищи по институту, бойцы его взвода, и местные девушки, и ленинградская женщина, и совсем туманные образы, отчетливые лишь в своей дружественности ему и в том, что он должен был защитить их от страшной, смертельной опасности.

Видимо, ему надо было вывести из терпения смуглолицего мрачного человека, и он на каждое его слово отвечал вызывающей дерзостью. Путешественник сказал, что ему не понравилось, как обошлись слуги замка с высокородными дамами, его, путешественника, супругой и золовкой, их заставили ждать во дворе. Он не успел договорить, как Климов заорал с невероятной наглостью: «И мне это не нравится, черт побери, напустили каких-то шлюх, а высокородных дам заставляют ждать во дворе!» Побледнев, путешественник сказал, что присутствующие дамы и есть его жена и золовка. «Откуда я знал? — продолжал хамить Климов. — На них не написано. Я даже вас принял не то за шарманщика, не то за прсдавца каштанов». — «Благородный человек всегда узнает благородного человека», — дрожащим от ярости голосом сказал незнакомец. «В данном случае этой угадки не произошло». — «Что это значит?» — грозно спросил незнакомец, обнажив желтые клыки. И тут протоплазма родимых тел начала содрогаться, корчиться, словно на нее исходили от незнакомца болезненные токи, и Климов понял обмершим сердцем, что наступает решительная минута: или он сокрушит незнакомца, или восторжествует тот, и тогда конец всему, что Климов любил в этом мире. Он напрягся, готовый к последней схватке. А незнакомец хитрил, он подавил гнев и принялся фальшиво жаловаться: «Мы ведем жизнь странников — вечно в пути, вечно под чужим кровом». — «Собачья жизнь», — как-то очень значительно произнес Климов. Незнакомец дернулся, клацнул челюстями, в руке его сверкнул нож, и у Климова в руке ока-

зался нож, вернее, короткий меч, и он ударил незнакомца наотмашь по шее, но не причинил ему вреда. И тут во сне что-то смешалось, пошло пятнами, и лишь одно сверкнуло отчетливо: незнакомец и его спутницы исчезли в узком окне, распахнувшемся на миг в звездное небо...

«Кто этот незнакомец? — спрашивал Климов, еще пребывая во сне. — Нечистая сила?.. Дьявол?.. Гитлер?.. Мировое зло?..»

Вся моя литературность — в этом костюмированном сне, — думал он, уже проснувшись. — Но мне и сейчас печально, и гордо, и радостно, и тревожно... Что же это было?.. Станный сон, он вместил в себя и книжки моего детства, и близких, которых я потерял, и Марусю, и ленинградскую женщину, она тоже мелькала в зыбкой плазме, подлежавшей моей защите, и, конечно, во всем этом как-то присутствовала война, ужас, павший на мир, но почему в такой ребяческой форме? Я ведь и маленьким не любил сказок. И еще тут было что-то от моего чувства к Марусе... Почему я испытывал такой восторг перед собственным остроумием? Потому что она слышала, я красовался перед ней... Красовался, уже приняв бой... Вот что невозможно на этой войне — покрасоваться перед кем-либо. Почему же мне так печально? Потому что я смертно, невыносимо жалел реющую зыбкость милых мне существ. А почему мне гордо и радостно? Потому что я принял бой. Я не шел вперед как обреченный, я рассчитывал удар, я думал, я жил. Я впервые, хоть и во сне, пошел в бой как в жизнь, а не как в смерть...»

Климов поднялся с постели. В непроглядной темноте согласно и трогательно дышали художник и Нюсенька. Климов пытался нащарить ногой сапоги, но не нашел их. Босой, держась за спинку кровати, он добрался до двери и распахнул ее в сонное, густое тепло кухни. Кухня глядела окном в сторону фронта. Там вспыхивали медленными зелеными зарницами осветительные ракеты. И, отзываясь на далекий свет, в кухне посверкивала стеклянная утварь в горке, цинковое корыто на стене, никелированные шешечки кровати, на которой спала хозяйка с младшей дочерью, и еще какие-то металлические, не угадываемые во тьме предметы. Ситцевая занавеска над печью хранила еще два дыхания — Марусино и Любашино. Семья спала глубоко и согласно, набираясь сил для нового дня: четыре женщины от пяти до пятидесяти, а хозяин, создавший эту семью, построивший этот большой хороший дом, насытивший его вещами, был убит пришедшими из своей страны неприятелями. Теперь второй и последний мужчина этой семьи, восемнадцатилетний Марусин брат, пытается помешать врагу убивать дальше, и его тоже, скорее всего, убьют или искалечат, у рядового пехоты мало шансов уцелеть...

Климов вышел на крыльцо и удивился холоду этой летней ночи. Холод полз над землей со стороны фронта, обтекая голые ноги Климова. Казалось, он зарождается в ядовитой зелени, растекающейся над передним краем. Климов закурил. Что-то мокрое, холодное, шерстяное прижалось к его ногам, заставив вздрогнуть, и завертелось в коленях, касаясь кожи чем-то влажно-горячим. Хозяйский пес, спущенный на ночь с цепи, признал нового постояльца. Климов нагнулся и погладил его по шишковатой, в репьях, голове...

Печатались немецкая газета и листовки в типографии-поезде, стоявшем в лесу на специально проложенных туда рельсах. Этот поезд принадлежал к мощному хозяйству фронтовой газеты, а семьюотдельцы числились в бедных родственниках. Однажды редактор попросил Климова отнести в типографию текст новой листовки и проследить за набором. Климов заглянул в текст, по обыкновению обещавший добровольно сдавшимся в плен немцам жирный суп, в буквальном переводе это звучало как «толстый суп» (*dicke Suppe*), вздохнул и пошел выполнять приказ.

Сразу за деревней начинался густой цветущий луг, простиравшийся до темного, глухой стеной стоявшего сосняка. Луг крепко пах ромашками, тропинка почти исчезала в рослых цветах и травах. Ромашки яичными желтком пачкали сапоги, темно-бордовые цветы — будто с десятком крошечных гвоздичек унизал тонкий клейкий стебель — оставляли на руках липкий след. Над лесом большая и, видать, старая ворона преследовала молодого сокола. Тот уходил от нее, изящно планируя с перепадами высот, но злобная и настырная старуха, неуклюже и сильно взмахивая громадными крыльями, снова настигала его и норовила клюнуть в голову. Что он ей дался? Может, на добычу посягнул или охоте ее помешал? Соколок не решался принять бой, он только уклонялся, уходил и, казалось, в своей беспомощности и унижении старался сохранить непринужденность. А ворона вовсе не заботилась о таких тонкостях, ей только бы долбануть сокола железным носом в зрак, в золотой, блестящий кружочек. Ненависть тяжелой кровью прилила к голове Климова, эх, ружье бы сейчас! Высыпал бы черно-серой разбойнице по первое число! Почему злоба так упорна и последовательна? Может быть, потому, что она, злоба,— не вспышка, не приступ слепой ярости, не судорога бешенства, а нечто тягучее, как смола, и, как смола, клейкое,— хочешь, да не отлепишься. Вот и ворона не могла отлепиться от сокола. Он, как с горы, скользнул бочком влево, к высоковольтной линии, ворона замахала крыльями и, буд-

то спотыкаясь о незримые воздушные ухабы, пустилась за ним следом, вскоре они скрылись за деревьями. Забьет или не забьет она соколка?..

Климов вошел в лес, душный, пахучий и паркий. Тропку окаймляли хвощи и папоротники, дальше густели сплошные заросли черники. Климов нагнулся и поворошил рукой кустики с крупными спелыми ягодами, будто прихваченными морозной сединой. Он с детских лет не собирал черники. Землянику, малину, костянику собирал, а вот черника ему как-то не попадалась, он даже вкус ее забыл. Климов набрал полную горсть ягод и сунул в рот. Черника прохладно и сладко заполнила рот. У нее был вкус детства. Решив, что это не отразится на ходе войны, если он на полчаса позже сдаст в типографию листовку, манящую немцев «толстым супом», Климов стал пастись на чернике, углубляясь все дальше в лес.

Для пехотинца ощущение, что за ним наблюдают, равносильно сигналу опасности. Климов замер с рукой, протянутой к ягодам, и медленно, не поворачивая головы, обвел лес глазами. С чернильно перемазанным ртом из-за березы глядела на него Маруся. И как только они встретились взглядами, Маруся рассмеялась и вышла из укрытия.

— Чего вы смеетесь? — спросил Климов.

— Уж больно чудно вы осматривались, будто зверек какой — зырк-зырк!..

— Лучше на себя посмотрите, — сердито сказал Климов, — как школьница-замарашка, вся в чернилах!

— Думаете, у вас лучше! — огрызнулась Маруся и, поплевав на ладонь, стала вытирать губы и подбородок.

И Климов принялся тереть лицо платком, предварительно смочив его слюной. Так они стояли друг перед другом, плевались и драили свои лица, но ничего не помогало, легче оттереть наши паршивые чернила, чем высококачественный продукт природы.

Вконец обессилев, оба одновременно прекратили работу. У Маруси лицо было чистым, только губы приобрели странную синюшную бледность.

— А вам влетит, — сказала Маруся.

— За что?

— Вам воевать положено, а вы чернику собираете.

— Я не оттерся?

— Оттерлись. Только губы синие.

— И у вас.

— Мне что! Я человек вольный.

— Я тоже, — сказал Климов, недоумевая, почему она не уходит и длит их добродушную перепалку. Что это, свойство натуры —

вступать с каждым встречным и поперечным в смешливую игру, или тут дело лично в нем, Климове? Наверное, она чувствует, что безразлична ему, а это всегда льстит женщинам.

— Вы откуда? — спросил он.

Маруся кивнула на лесную глубь, скрывавшую поезд-типографию.

— Путь укрепляли. Оползает.

— А сейчас домой? («И находчив же ты, парень, прямо Казанова!»)

— Ага! — сказала она радостно.

Ну же, скотина, скажи что-нибудь живое, веселое, дерзкое... Или обрушь на нее свою пылкую страсть. Ведь она нравится тебе, как никто никогда не нравился, у тебя все дрожит внутри, и в башке какой-то гул. Может, и не будет другой возможности, кругом все время люди, да и белобрысый старший лейтенант несет свою вахту. Милая моя, какие у тебя губы мягкие, какие нежные волосы, какая ты вся новенькая, чистая, даже в этом заношенном, выгоревшем сарафане. Вот радость-то!.. Ты моя радость! Радость ты моя!..

Маруся тоже молчала, с какой-то странной, неразвернутой полуулыбкой она смотрела на него, будто чего-то ждала, и вдруг нежным, доверчивым движением взяла его за руку и тихонько пожалала, словно впрямь дождалась нужного ей знака и была благодарна ему за это.

— Ступайте, а то вас заругают.

— Да, да! — закивал он головой.— До вечера. Вы будете дома?

— Куда же я денусь? — засмеялась Маруся.

Они разошлись. Климов выбрался на тропинку и быстро зашагал вперед, вспугивая птичью мелочь: дроздов, щеглов, красноголовых дятелков. Порой папоротники глушили тропинку, лес казался дремучим, необитаемым. Человечье становище предупредило о себе запахом: к хвойным и травяным ароматам примешалась едкая воньца поездной гари, крапивных щей. Затем появился мусор: старые газеты, бумажные обрывки в жирной типографской краске, папиросные коробки, ржавые консервные банки, разбитые фанерные ящики, и вот в широкой щели жутковато возникло длинное, тихое, темное тело поезда...

Климов вручил текст листовки балагурам-наборщикам, и вольнонаемный начальник типографии, странно выглядевший в своем мосторговском костюмчике и галстук-веревочкой, повел его обедать в столовую под дощатым навесом. Хорошо шли в лесу крапивные щи и пшенная каша с луком на техническом, как пока-

залось Климову, густом оранжевом масле. Удовольствие от трапезы портили комары, тучей реявшие над столами. Климов натянул пилотку на уши, на фрицев манер, поднял воротничок гимнастерки, закурил сигарету — ничего не помогало: комары впивались в скулы, губы, веки, нос, они падали в миску с кашей и погибали в ней — большие, с рубиновым от крови брюшком.

— У нас всегда мясное,— заметил начальник типографии, вылавливая из миски очередной комариный труп.— Еще один не вернулся на свою базу.

Климову казалось поначалу, что смутное, непонятное чувство тревоги, возникшее в нем с приходом в столовую, вызвано комариной атакой, у него была чувствительная кожа, бурно отзывающаяся волдырями, пузырями, брусничной краснотой на любое внешнее раздражение. Но шутка начальника типографии подсказала ему догадку.

— Вы плохо стоите,— сказал он.— Зачем такая широкая просека?

— А что? Нас не тревожат.

— До поры до времени. Разве это маскировка? Кинули по три веточки на вагонную крышу и думаете — вас не видно.

— Не каркай! — добродушно отмахнулся начальник типографии и звучно прищелкнул комара на толстой красной шее.— Еще один не вернулся на свою базу...

Климов как в воду глядел: той же ночью поезд-типография, а также деревня Ручьевка, приютившая ряд воинских частей, подверглись налету.

Еще во сне Климов услышал вой и разрывы, и свист пуль крупнокалиберного пулемета, и редкий деревянный постук зениток. «Опять бомбят, мать их!» — подумал он, поворачиваясь на другой бок. Ему казалось, что он находится в своем блиндаже на переднем крае за Нарвской заставой. Зеленый свет вспыхивал в его закрытых глазах, он уткнулся лицом в подушку и удивился мягкости своего изголовья. Повернулся на спину, открыл глаза и увидел черные кресты на слепящей яркости, рожденной взрывом. Вернувшаяся было тьма прорезалась короткими неяркими вспышками, и опять возникли кресты, хотя и не столь четко. Откуда кладбище?.. Он вдруг догадался, что это оконные переплеты, и сразу вспомнил про Ручьевку и обрел истинное место во времени и пространстве.

Как все фронтовики, Климов из всех видов вражеского огня больше всего ненавидел бомбежку. Он встал, натянул брюки и по обыкновению не нащупал под кроватью сапог. Он зашлепал босыми ногами к двери и тут вспомнил о своих соседях.

— Эй, молодожены! — крикнул он. — Бомбежку проспите!

Ответа не последовало. Он потрогал кровать художника — пусто. Любящая пара покинула избу. «Не хотели меня будить! — усмехнулся Климов. — Впрочем, я тоже вспомнил о них в последний момент. Вся разница в этой малости, но разница все же существенная!» Он засмеялся и вышел на кухню. Дикий, всасывающий, вбирающий в себя все сущее свист, ослепительная вспышка, гром разрыва... Климову почудилась какая-то фигура, скорчившаяся в углу на лавке. Свет нового разрыва оплеснул угол, и Климов узнал Марусю. Она сидела, погрузив лицо в ладони, в короткой городской рубашке. Ее голая нога раскачивалась маятником. Климов подошел, коснулся ее плеча.

— Маруся, пойдите отсюда.

Она не отозвалась и так же мерно продолжала качать ногой.

— Маруся, что с вами?

Климов сел рядом, попытался разнять ее руки. За окнами была нехорошая, оцепенелая тишина. Маруся изо всех сил прижимала ладони к глазам. Климов боялся причинить ей боль.

— Маруся!

Она убрала руки и детским, беспомощным движением уткнулась ему в грудь.

— Как в Ленинграде!.. — сказала отчаянно.

Два несильных разрыва ударили, похоже, через улицу — резко задребезжали стекла. И в лад с ними пронизалось дрожью Марусино тело.

— Пойдите в огород, там безопасней, — сказал Климов.

Она не отозвалась, лишь сильнее прижалась к нему. Она вжималась в него, как в землю, ища защиты, но он не был землей, он был живой плотью, и близость ее теплого, нежного тела туманила ему мозг. Он обнял ее осторожно, чтобы прикрыть от осколков стекла, если вылетят окна. Она сама делала объятие тесным, когда наваливался очередной свист; она впивалась ему в плечи и шею, когда в отдалении разрывались фугаски; она втискивалась, почти проникала в него, когда со звуком рвущейся струны впивались во что-то земное пули крупнокалиберного пулемета и осколки бомб. Она чуть отстранялась в минуты затишья, и Климов поймал себя на том, что ждет нарастания пальбы... Но наступил момент, когда все исчезло в оглушительном грохоте, в незатухающих огневых сполохах, завладевших домом, но не даривших видения, и Климов целовал Марусю в голову, шею и руки, которыми она опять закрывала лицо, в плечи, а потом в мокрые от слез глаза, щеки, дрожащие губы, а Марусины руки лежали на его затылке, держали его, как в капкане. Она отвечала ему сильно и неумело, и было

немного больно зубам, встречавшим кость ее крепких зубов. (Вспоминая об этом на поездной полке, Климов стонал от жгучей памяти о том сильном, самозабвенном переживании. Много было в жизни, а такого уж не было...)

Когда бомбежка прекратилась и за окнами вместо большого, безумного света остался лишь тусклый, красноватый отблеск какого-то пожаришка, Маруся, будто проснувшись, сказала: «Пусти» — и не резко, а как-то очень осторожно высвободилась из его рук. Она прошла к рукомоюнику ополоснуть лицо.

— Маруся?

— Что тебе? Ступай спать.

Она говорила ему «ты», как бы узаконивая случившееся между ними.

— Ты больше не боишься?

— Чего бояться-то? Теперь все...

— Ты в Ленинграде под бомбежкой была?

— Была.

Разговаривала Маруся, несмотря на доверчивое «ты», отстраняюще. Она не сердилась на него, но, быть может, воздвигала преграду на будущее? Он почувствовал себя оскорбленным. Его не в чем было упрекнуть. Окажись на его месте какой-нибудь браваый молодчик с лейтенантскими звездочками!.. Он еще надеялся, что Маруся обмолвится добрым словом, но, умывшись, она забралась на печь и задернула занавеску.

Громко переговариваясь, с улицы вернулось все население избы: Марусина мать, сестры, художник со своей Нюсенькой.

Единственной жертвой ожесточенного налета оказалась старая рига за деревяней. Ни поезд-типография, ни Ручьевка не пострадали. Так, впрочем, нередко бывает во время ночных налетов: треску много, а толку мало.

На радостях решили устроить небольшую пирушку.

— Если хочешь, Нюсенька пригласит своих боевых подруг,— предложил художник. Он чувствовал вину перед Климовым и не знал, как подлизнуться.

— Я думаю, лейтенант не нуждается в них,— отозвалась Нюсенька.

— Нет, отчего же? — неожиданно для самого себя сказал Климов.— Позовите ваших подруг.

— А как же Маруся?

— Она, конечно, тоже будет. Одно другому не мешает.

— Смотрите,— предупредила Нюсенька,— у нас девочки такие... Закрутят — оглянуться не успеете.

— Не бойтесь за меня,— самоуверенно сказал Климов.

Он и сам не отдавал себе отчета, зачем ему понадобились связистки. То ли в пику Марусе за ее холодность, то ли он рассчитывал блеснуть перед ней с невольной помощью городских девчонок? Во всяком случае, без Маруси тут не обошлось...

Скромная пирушка неожиданно приобрела широкий размах. Кроме связисток, в ней приняло участие несколько певцов пресловутого супа, местные девушки, старший лейтенант Федя и ленинградская женщина.

На Марусе было то самое белое платье с черным бархатным поясом, что и в день их знакомства, да, верно, у нее и не было другого выходного платья. Она сидела справа от Климова, а слева помещалась коренастая рыжеволосая связистка Вика, странная девушка: плечевой пояс борца и тонкое, просвечивающее, какое-то тающее лицо. Она была вовсе не в его вкусе, эта Вика, но из-за нее вечер полетел кувырком. А впрочем, не в ней дело... Вначале Климов и внимания не обратил на коренастую связистку. Он просто радовался застолию, бутылкам, той легкой бестолковости, когда кому-то чего-то не хватает, все галдят и без конца пересаживаются, словно отыскивая единственное место,— это напоминало московские студенческие вечеринки. Когда же суматоха надоела, Маруся приняла на себя хозяйскую ответственность и мгновенно навела порядок. Климова умиляла та глубокая серьезность, с какой хозяйничала Маруся, он гордился ее расторопностью, памятьливостью, ладными сильными движениями. Да, у Маруси не было другого платья, кроме этого белого с черным поясом, но она по-новому заколола волосы, убрав их за уши, надела на шею бусы из ракушек и стала совсем новой, нарядной, праздничной, немного чужой, и Климову не верилось, что он целовал ее. А потом, когда усилиями Маруси за столом воцарился порядок и была выпита первая чарка «за победу», в Климове началась какая-то порча. Вино и всегда-то неважно на него действовало. Ему начинало казаться, что он видит потайную, скрытую от других суть явлений. Вот и сейчас он открыл для себя, что между Марусей и старшим лейтенантом Федей происходит постоянный внутренний разговор, слышимый лишь им двоим. Ему и прежде казалось невероятным, что все их отношения сводятся к ежевечернему молчаливому дежурству Феди на лавке у окна. Не было случая, чтобы они обменялись словом. Правда, Федя и вообще-то был молчун, но все же порой перекидывался немудреной шуткой с почтальоншей или с седой Асей. Надо полагать, что до появления Климова у Феди бывали разговоры и объяснения с Марусей, но сейчас между ними как будто порвались провода. Чепуха, они прекрасно обходились беспроволочной связью, теперь он это знал, у них шел безмолвный

разговор — только не для такого сверхчувствительного слуха, каким его наградили несколько стопок вонючего самогона...

За столом Маруся все время заботилась о Климове: подкладывала еду на тарелку, спешила наполнить стопку, пододвигала то соль, то хрен, то горчицу, приносила холодную воду в кружке, но, осененный своей новой дьявольской пронизательностью, Климов понимал, сколь ничтожна эта внешняя, показная заботливость по сравнению с глубинным общением, что связывает ее с тихоней Федором. И он решил проучить Марусю. Пусть убедится, что и он может быть кому-то упоительно интересен.

Вика легко откликнулась на призыв. Она была москвичка, и это дало им возможность предаться сладостным воспоминаниям о московских улицах, бульварах, театрах, катках. Сами названия звучали волнующе и — что особенно важно — непонятно Марусе. Разве могла она постигнуть красоту таких словосочетаний, как Тверской бульвар, Столешников переулок, Кузнецкий мост, каток на Петровке, Патриаршие пруды, Китайская стена, Красные ворота? Маруся прислушивалась к их разговору, морщила лоб, пытаясь постигнуть то ликование, с каким они произносили непонятные названия, готовно улыбалась, подстраиваясь к их радости. Климов торжествовал. Дальше пошло еще лучше, Вика оказалась страстной поклонницей Блока, а Климов помнил многое у Блока. Он стал читать, и после каждого стихотворения Вика делала жалостное лицо и утверждала, что это ее «любимое». У Климова зародилось подозрение, что она вовсе не любит, да и едва ли знает Блока, но это тоже не имело значения, ведь читал он вовсе не для нее. Блоком он сокрушал старшего лейтенанта Федора, карал Марусю за тайную измену. Он не переставая пил и, поскольку действительно любил Блока, получал все большее удовольствие от своего чтения, и эту им самим создаваемую радость, с привкусом грусти, относил к связистке Вике. Порой туман, застилавший его сознание, пронизывала мучительная память о Марусе, но стихи влекли его дальше, прочь, в большие, восхищенные Викины глаза, и еще до того, как встали из-за стола, он знал, что любит и всегда любил только Виду.

В кухне пели, плясали, крутили патефон, но они остались верны поэзии и не приняли участия в общем вульгарном веселье. Какие-то бредовые видения посещали его помутненный мозг. Сын машиниста сцены и домашней хозяйки с четырьмя классами гимназии, он воображал себя молодым аристократом, одарившим вниманием простую крестьянскую девушку. Но вот появилось очаровательное существо, принадлежавшее его кругу, и сельское наваждение развеялось как дым, его чувства вновь обрели должную ориентировку.

Порой ему казалось, что нечто подобное уже с кем-то было, возможно, с одним из его друзей-аристократов, или же он читал об этом в книгах, ну и что же, в жизни все повторяется. Он пытался объяснить Вике ту ответственность за него, которая отныне легла на ее широкие терпеливые плечи, и Вика радостно кивала головой, охотно соглашаясь на роль спасительницы. «Светские люди понимают друг друга с полувзгляда»,— и Вика кивала изо всех сил. «Как я жил в этой глуши без вас?» — удивлялся Климов, и Вика тоже не могла этого понять. Неожиданно Климову захотелось проводить Вику домой. Она робко протестовала: «Еще так рано!..» Но Климову нужно было пройти с ней через кухню на глазах у всех, и он решительно подавил ее робкий бунт. Триумфа не получилось. Маруся настраивала гитару и не заметила их, а старший лейтенант Федор уже ушел.

Климов долго и как-то зверски целовался с Викторией возле ее дома, затем шаткой поступью потащился назад, испытывая сильные позывы к рвоте. Возле сельского веча он наткнулся на почтальоншу и седую Асю, возвращающихся домой.

— Хорошо! — сказала Ася.— Надо же так надраться!

— Что же ты, медочка, ведешь себя кое-как? — спросила почтальонша.

— А что?

— Маруся плачет... Я, говорит, думала, это наш праздник, а он вон какую пулю отлил.

— Плачет?..— тупо повторил Климов.

— А то нет?.. Свинья ты, медочка, свинья!

— Разве можно так с Марусей? — сказала Ася.— Она нежная.

— Да что с ним разговаривать? — вдруг разозлилась почтальонша.— Налил морду водкой, и ни бум-бум!..

Подруги скрылись в темноте.

— Плачет?.. — вслух произнес Климов, и тут его начало рвать...

С мокрым лицом, дрожащими коленями, трезвый, слабый и несчастный Климов поднялся на крыльцо. Он хотел попить воды из кадки и уронил деревянный ковш. Стал нашаривать его на полу и вдруг почувствовал у себя на затылке чью-то руку.

— На, пей,— сказал в темноте Марусин голос.

Он не слышал, как она подошла, подняла ковш, зачерпнула воды. Влажное дерево ткнулось ему в подбородок, он двумя руками, чтобы не пролить, взял ковш и жадно выпил холодную свежую воду.

— Худо тебе?

— Маруся!

— Да ладно... Я все понимаю. Ляжь, поспи, и все пройдет. Помочь тебе раздеться?

— Ну что ты!.. Маруся!..— и вдруг Климов, как сопливый мальчишка, заплакал перед девушкой, которую любил.

— Перестань, успокойся. Ну чего ты? Перестань! Это водка в тебе плачет.

Маруся взяла его голову и прижала к своему плечу. И странное дело, теперь Климов уже не стыдился ни этих слез, ни своего пьяного, глупого поведения, все находило искупление в безмерности доверия, которое он испытывал к Марусе.

— Ты не сердисься?

— Я сначала злилась. А потом поняла, что ты же для меня старался.

— Правда? — удивился Климов.— Как же ты догадалась?

— Я ведь тоже плакала. А после слез всегда яснее становится. Я и подумала: неужели он такой плохой, несамостоятельный? Быть не может. Ну, а зачем же он так? Выходит, ради меня. То ли проучить хотел, то ли показаться... Проучить меня не за что... Вот...

Маруся все же не до конца разгадала жалкий спектакль, разыгранный Климовым, но ему не хотелось признаваться, что он спяно приревновал ее к старшему лейтенанту...

На другой день Климов проснулся легким и свежим, будто и не пил накануне. Умывшись свежей водой во дворе, он долго стоял там в радостном бездумии и вдруг увидел себя как бы из временного отдаления, из далекого будущего. Словно на дне глубокого колодца, он увидел очень молодого человека, почти мальчика, и впервые понял, что все происходящее с ним сейчас является жизнью незрелой души. Когда-нибудь он будет вспоминать о себе нынешнем с насмешливо-снисходительной улыбкой. Ему это показалось обидным. Неужели во всем, что с ним происходит, есть некая обесценивающая возрастная условность? Безмерно важное ныне будет казаться ничтожным и жалким в будущем, что-то вовсе не ценимое ляжет на душу вечным сожалением? Нет, Маруся никогда не обесценится в его душе, как бы ни сложилась жизнь. А вдруг и это, самое сильное его переживание, окажется возрастным, как прыщи или юношеская тоска? Тогда в мире вообще нет настоящих ценностей, все зыбко, текуче, все бессмысленно. А может, и на этом его рассуждении стоит неприметное клеймо «незрелость»? К черту, из себя не выскочишь, надо просто жить...

Когда он вернулся в избу, то вдруг услышал на печи, за ситцевой занавеской, ровное и сильное дыхание спящего человека. Он стал на лавку и отдернул занавеску. Там, лежа навзничь и закинув руку на лицо, спала Маруся. Он окликнул ее, она не отозва-

лась. Подтянувшись на руках, он забрался на печь и лег рядом с ней. Она спала. Здесь было жарко, оттого и дышалось ей тяжело. На лбу у нее накипела глазурью испарина. Он обнял ее и прижал к себе. Она спала. Ее дыхание щекотало ему щеку. Он убрал ее руку с лица и коснулся ресницами щеки. Она чуть застонала и откинула голову, но не проснулась. Он прижался к ней сильнее. Исчезла печь, занавеска, паркая духота. Было небо, воздушный корабль, тугие паруса...

Когда он вернулся из дальних странствий, то увидел открытые, ясные глаза Маруси.

— Не надо так,— сказала она.— Никогда не надо. Что ты, будто вор? Обнимаешь, шныряешь, а я сплю...— Она улынулась.— Ой, как я спала!.. Уже слышала тебя сквозь сон, уже знала, что это ты, а очнуться не могу. Сроду я так далеко не спала. Ну,пусти меня, на работу пора...

С тех пор им почти не выпадало быть вдвоем. Марусин труд- фронт на ремонте железнодорожных путей превратился в постоянную работу. Она уходила чуть свет, а возвращалась с темнотой, смертельно усталая, и без сил валилась на печь. Климов тосковал и с неожиданной симпатией поглядывал на расчищенного до блеска старшего лейтенанта Федю, с прежней неуклонностью являвшегося каждый вечер, чтобы занять свой пост на лавке у окна. На Федоре лежал какой-то отсвет Маруси, и, конечно же, он тоже скучал по ней, и это делало их товарищами по несчастью. Правда, Федор отнюдь не испытывал встречной тяги к нему и не поддерживал попыток установить более тесные отношения.

Однажды Климова послали с поручением в Неболчи. Надо было скинуть листовку немецким солдатам в районе Мги, грозящую им скорым и полным уничтожением, если они не предпочтут этому добровольную сдачу в плен. Трафаретный конец не мешал листовке существенно отличаться от всех других. Несмотря на летнюю неудачу, ни у кого не было сомнений, что блокаду будут прорывать только в направлении Мга — Синявино, нигде больше. Знали об этом и немцы, судя по штабным документам, захваченным нашей разведкой; знали и все-таки не спешили с подкреплением, видать, плохо у них обстояло с резервами. Листовку хотели напечатать большим тиражом и регулярно сбрасывать немцам в районе Мги, что на языке седьмоотдельцев называлось «капать на мозги». Для вящей убедительности первую партию должны были сбросить после боя за господствующую высоту,— предполагалось, что высоту мы займем. Пусть-де знают немцы, что с ними не шутят. Плоха ли, хороша ли была задумка — трудно сказать. Но было известно на примере Спасской полести, Киришей, Вязищ, что после поражения

немцы охотно прячут за обшлаг рукава «Пассиршайн фюр ди Гефангенгабе»¹, выданный из нашей листовки. Словом, решено было перед наступлением наших войск провести планомерное наступление на психику врага.

Текст этой листовки, как и всегда, подлежал утверждению в седьмом отделе, в Неболчах. А единственный редакционный грузовик стоял без шин на четырех кирпичных подпорках. Редактор вызвал Климова и в своей обычной, глубоко штатской манере попросил сходить к начальству.

— Конечно, можно послать бойца, но вдруг потребуются какие-то изменения. Телефонной связи нет, а вы сможете сделать их самостоятельно на месте. Получите подпись Гущина и скорее возвращайтесь, листовка должна быть на аэродроме не позже полуночи.

Как по-домашнему это прозвучало: не позже полуночи, не к «двенадцати ноль-ноль», как сказал бы любой фронтовик, даже из подвалов АХО. «Полуночь» — чудесное гоголевское слово, от него веет колдунным уютом, любовным шепотом, ведьминскими игрищами...

Был десятый час утра, когда Климов затопал по шпалам в Неболчи. Хорошее крепкое свежее утро, с той прочной синью, что продержится до исхода дня, с небольшим ветерком, дующим по верху орешника, высаженного вдоль полотна. Густо и жарко-сини были рельсы, доказывающие у обреза горизонта, что параллельные линии на самом деле пересекаются. Фронт молчал, опрятная тишина лежала на полотне, орешнике, болотных полях за ними, на проводах, униженных сизоворонками, и казалось, воюющие люди, что-то поняв, разбрелись по домам. Он шел, ни о чем не думая: ни о простом своем поручении, ни о будущем, ни о прошлом. И только Марусин образ — в наклоне головы, в повороте, в тишине спящих век, в озабоченности сведенных бровей, в беззащитной простоте уличной фотографии — неотвязно наплывал ему на душу. Ему нравилось, что она сама приходит к нему, без малейшего усилия с его стороны. Он мог следить за какой-нибудь сойкой, подсчитывать краски в ее оперении, а Маруся приближалась смуглым локтем закинутой за голову руки; мог считать шаги между телеграфными столбами или заниматься иным, столь же полезным для путника делом, а она подымалась из-за края насыпи, отмечала собой скрещение рельсов на горизонте, а потом возникла прямо в ошеломляющей достоверности: старое, какое-то бурое короткое платьице, брезентовые рукавицы, марлевая, испачканная глиной ко-

¹ Пропуск для сдачи в плен [нем.].

сынка на голове, лом в руках — ближайшая из десятка работавших на путях женщин.

Почему-то он думал, что Маруся работает по другую руку от разъезда. Он никогда еще не испытывал к ней такого чувства родности. Наверное, потому, что встреча произошла внезапно — ее не готовили ни уговор, ни тоска, ни желание, — Маруся во плоти, как и Маруся-призрак, родилась из воздуха, без всякого усилия, и сразу вошла в него. Это было новое, странное чувство. Маруся всегда была вне его, почти враждебно вне, он хотел завладеть ею, подчинить себе, а сейчас она стала частью его, но как случилось это внезапное проникновение, он не знал, да и не нужно знать. И свою родность ей видел Климов на ее доверчивом и радостном лице.

Его огарнули ремонтницы, в большинстве ручьевские, знакомые Климову.

— Ты куда чапаешь, мёдочка? — спросила почтальонша.

— Угости папиросочкой, — попросила седая Ася.

У него была с собой непочатая пачка «Беломора». Женщины закурили, даже Маруся закурила, но сразу закашлялась и отдала ему папиросу. А потом женщины, как по команде, вернулись к работе, и почему-то все оказались лицом к Неболчам.

Им это не нужно было. Чтобы тихо посидеть рядом на теплом рельсе, не нужно искусственное уединение.

И минула эта краткая вечность.

— Я скоро буду назад, — сказал Климов.

Отойдя порядочно, он произнес громко, с каким-то яростным вызовом:

— Ну и пусть убьют, мать их!.. Все равно я жил на этом свете. Жил!..

Назад он оказался даже раньше, чем ожидал. Замещавший начальника седьмого отдела Гущина интендант второго ранга Хохлаков наотрез отказался подписать листовку, потому что на ней не было подписи редактора. «Но мы всегда так делаем, — пытался убедить его Климов. — Мы посылаем вам текст лишь с авторской подписью». «Я ничего не знаю!» — отмахнулся Хохлаков, огромный, толстый, похожий на кашалота, с ускользящим взглядом бесцветных глаз. Климов хотел разыскать Гущина, но оказалось, тот выехал под Будогощь для инструктажа. Ничего не оставалось, как топать назад. Оказывается, он стартовал на марафонской дистанции — без малого пятьдесят километров! Кто-то из инструкторов предложил дожждаться попутной машины, но Климов боялся рисковать. Пешком он наверняка успеет обернуться, а машину можно полдня прождать. «Хохлаков, пожалей лейтенанта, подпиши», — попросил инструктор, но тот и бровью не повел.

Климов рванул назад хорошим спортивным шагом и меньше чем через три часа, с чувством нереальности происходящего, опустился на теплый рельс рядом с Марусей.

— Устала? — спросил он.

— Еще рано устать, до вечера далеко.

— А я опять здесь пройду,— сказал Климов о себе, как о поезде, и Маруся уловила это сходство.

— Курсируешь, как рабочий состав.— И сердито добавила: — Загоняли совсем!..

— Маруся, выходи за меня замуж,— попросил Климов.

— Нашел, где об этом говорить!..

— Может, в другом месте я и не решился бы.

— Чему ты усмехаешься?

— Не знаю. Мне странно, что я вроде жениха. В детстве почему-то считалось, что жених обязательно дурак, а жениться стыдно.

— Нет, это хорошо! Невеста должна быть в красивом белом платье, а жених весь в черном!

— Ну да, как в песне: «Невеста была в белом платье, жених был весь в черных штанах».. Я тебя серьезно прошу.

— А твои родные?

— У меня никого нет.

— Я бы пошла за тебя. Правда! Да ведь война, Леша! — произнесла она жалобно.

— И черт с ней!..

— Ох, не говори так! Нельзя. Плохо будет. Страшно... Нельзя сейчас об этом думать.

Слова о женитьбе вырвались у Климова случайно, да и какой смысл имела женитьба, когда в любой день может кончиться его короткий перекур, и так же может распорядиться Марусей трудовой фронт. Но сейчас ему представилось, что от Марусиного согласия зависит бог весть что — и жизнь, и смерть, и все на свете. Он сказал:

— Часа через два я буду. Ты мне тогда ответишь,— и пошел не оборачиваясь...

Редактора на месте не оказалось. Гуцин срочно вызвал его в Будогощь, и он ушел на аэродром, откуда стартовали грозные ночные бомбардировщики У-2. Листовку подписал ответственный секретарь газеты Смолин, недавно эвакуированный из Ленинграда лингвист. «Ужасно неудобно вас гонять, но никого нет под рукой, а самому мне не дойти», — и он с грустью посмотрел на свои распухшие ноги...

...— Леша, я все думала, думала и знаешь чего надумала? —

в подступивших сумерках Марусино лицо казалось осунувшимся, в черноту бледным.— Давай так: я к тебе вышла и иду, а как приду, так и стану твоей женой.

— Когда же ты придешь?

— Да как война кончится, или...

— Ну, уж договаривай.

— Если, упаси бог, ранят сильно, я сразу приду. Только скажи... Ладно?.. И давай больше об этом не говорить, а то плакать хочется...

...Уже в темноте, подходя к баряку, где расположился седьмой отдел, Климов все думал о Марусином ответе — согласии-отказе. Почему бы им не связать судьбы, даже если его скоро отошлют и он не вернется назад? Хоть день, да их... Но, может, Маруся боялась связаться с ним не на смерть, а на жизнь? Она не верит ему до конца, боится, что он скоро ее забудет... Он так и не успел разобраться во всем этом, когда перед ним вновь выросла гора мяса, запиханная в военную форму.

— Это чья закорючка? — спросил Хохлаков, подозрительно разглядывая подпись Смолина.

— Политрука Смолина.

— Почему не редактора?

— Его срочно вызвал в Будогощь батальонный комиссар Гущин. Смолин — ответственный секретарь редакции, исполняющий обязанности, вернее.

— И. о.! И. о.! — заржал Хохлаков.— Громадная разница! Я не подпишу.

Климов засмеялся: он проделал тридцать шесть километров только для того, чтобы услышать этот панический вопль самосохранения.

— Да чего вы дрейфите? Сколько таких листовок выпустили...

— Не забывайте, товарищ лейтенант! — тонким голосом вскричала туша.— Перед вами старший по званию!

Это верно, у него две шпалы, он интендант второго ранга. А где ваше хозяйство, товарищ интендант, где склады, хранящие штабеля дубленых, сладко воняющих полушубков, жилетов на овчине, горы кирзовых сапог, ушанок из поддельного меха, консервы, концентраты, несъедобный комбиджир, пачки отсыревшего табака? Спросить его о делах складских? Ох, и взовьется этот кашалот! Не стоит, еще под арест угодишь, а листовка так и не выйдет.

Спокойно и обстоятельно, может быть, чересчур обстоятельно, на грани издевательства, Климов объяснил Хохлакову положение с листовкой.

— Я бы доставил сюда Смолина, да ведь листовка тогда опоздает.

— Куда еще опоздает? — грубо спросил Хохлаков.

— Да ведь мы должны ее сбросить сразу после боя.

— Какая разница? — пожал жирными плечами Хохлаков. — После или до боя, лишь бы не вместо! — Это была шутка, интендант второго ранга хотел кончить дело миром. Он не решался подписать листовку, ему был ненавистен даже малейший риск, но и ссориться с этим мальчишкой-лейтенантом тоже не улыбалось Хохлакову: как-никак тот был с передовой, а оттуда все возвращаются малость «с приветом». Еще чего выкинет!.. Хохлаков чувствовал глубокую ответственность перед огромным, тяжелым и слабым телом, в котором заключалась величайшая драгоценность, венец творения, начало и конец мироздания — его родимая и жалостная суть. Нельзя позволить, чтобы в эту нежную, незащищенную мякоть стреляли. А на войне чуть что — начинают стрелять, свои почти столь же легко, как и чужие. Если б не эта омерзительная привычка, существование на войне было бы вполне сносно. Но за ошибку могут послать туда, где стреляют, могут и на месте шлепнуть. Поэтому не надо ошибаться, а значит, не надо брать на себя никакой ответственности. Но на войне опасен каждый, ибо у каждого на боку висит оружие. И этот молодой псих может схватиться за шпалер. Зря он полез в замы, думал, так спокойнее. Остаться бы ему рядовым инструктором...

Климов с новым интересом рассматривал сидящего перед ним человека. Оказывается, заместитель начальника службы контрпропаганды ни в грош не ставил свой род войск. «До боя, после боя — какая разница?». Ему, Климову, простительнее было бы так думать, слишком глубоко въелось в него убеждение: «Хороший фриц — это мертвый фриц». Но сидящий перед ним человек не имел права так думать. Его для того и держат здесь, вдали от пуль и снарядов, чтобы он «делал» не мертвых, а живых фрицев. Пусть и ничтожен шанс, что грохот проснувшихся после долгой спячки орудий в сочетании с «идеологическим» нажимом заставит каких-то фрицев задуматься о возможности выйти живыми из бойни, — надо верить в этот шанс. Если хоть один фриц добровольно или полудобровольно сделает «хенде хох» — уже выигрыш, такой фриц никого больше не убьет. А этот вонючий кашалот, эта сволючь бормочет «какая разница».

— Разрешите обратиться к начальнику Политуправления?

— Да вы с ума сошли! — замахал руками Хохлаков. — Тревожить Шаронова из-за такой ерунды?

— Ерунды?.. Тогда подпишите эту ерунду.

— Кругом! — неуверенно сказал Хохлаков.

После Климов с удивлением думал, чего его так заклинило? Сколько раз на войне он без звука подчинялся распоряжениям, столь же безответственным, но чреватых худшими последствиями. Там игра шла напрямую на человеческие жизни. Но он говорил «Есть!» и делал как приказано. И прошло какое-то время, прежде чем он понял, что в этот вечер он впервые почувствовал свою ответственность.

— Я иду к дивизионному комиссару и скажу, что вы срываете оперативное задание.

— Он в это время отдыхает,— беспомощно сказал Хохлаков.

— Разбужу!

Хохлаков опустил голову: то, чего он смертельно боялся, подступило вплотную в образе этого настырного поганца. Шаронов тоже чекнутый, он может загнать на передовую. За что?.. За что?.. Он не сделал ничего плохого!.. Эту паршивую, никому не нужную листовку не подмахнул? Но ведь никто не предупредил его о ней. И все же поставить подпись на клочке серой волокнистой бумаги с несложным немецким текстом было для него так же невозможно, как подписать собственный приговор. Он с юности усвоил от родителей золотое правило: никогда ничего не подписывать.

— Идите!..— сказал он упавшим голосом.

Но Климову не пришлось будить начальника Политуправления. Нежданная помощь пришла в лице давешнего сострадательного инструктора. Растерзанный, неопрятный человек, весь, как пророк, в пепле, с безумным и добрым лицом, случайно слышал конец их разговора и накинулся на Хохлакова:

— Ты с ума сошел? Большой дивизионный за такое голову снимет. Дайте сюда листовку, я сам подпишу. А тебя, Хохлаков, не было, понятно? Ты в сортире сидел.

Он размашисто подписал листовку.

Было очень темно, тучи заволокли небо, но рельсы светились в темноте, ловя какое-то невидимое глазу небесное сияние, и Климов, хоть и спотыкался, все же довольно быстро одолевал финишную прямую. Просветлели новенькие шпалы, уложенные Марусей и ее товарками. Значит, это на самом деле существует: я, и Маруся, и эти девушки, и шпалы, и война, где могут убить?.. Он не заметил тогда, что изменил привычной формуле, вместо положенного: «меня убьют», сказал: «могут убить»,— он уже оставлял себе какой-то шанс...

Тонкий, но резкий, пронизывающий звук за его спиной, напомнивший свист снаряда, заморозил лопатки. Миг он пребывал в неподвижности, затем прыгнул под откос. Со стороны Неболчей, со

стороны фронта, надвигался загадочный синий свет, подобный таинственному свечению целебной лампы, вправленной в сгусток тьмы. Климов засмеялся — это был поезд. Тишина и пустыньность протянувшихся через весь его день рельсов заставили забыть, что перед ним — действующая железная дорога. Поезд наплыл — громадный, медленный, темный, словно мертвый внутри. Это был пассажирский поезд, и самое невероятное — он шел в Москву...

В поезде-типографии его ждали: и. о. ответственного секретаря Смолин, наборщик и печатники. В пульмане, где помещалась ротационная машина, горел свет. Никто не сомневался, что он выполнит поручение.

— Вы, наверное, здорово устали? — сказал Смолин, растирая свои опухшие ноги. — Мы соорудили вам ложе за кассами.

— Спасибо, — засмеялся Климов. — Я все-таки пойду домой. У кого найдется фонарик?

Он едва дотащился до дому. Последние два-три километра дались труднее тех пятидесяти.

— Кто там? — раздался голос Марусиной матери, когда он с великими предосторожностями и совершенно бесшумно проник из сеней в кухню.

— Да я... — прошептал он. — Спите.

— Ты, Леш?... — голос ее сник.

Она не спала по ночам и ждала сына. Ей почему-то казалось, что он придет обязательно ночью, когда все спят и никто его не встретит...

Перекур кончился раньше, нежели ожидал Климов. Его послали в командировку в 59-ю армию, которая после форсирования Болхова топталась на правом берегу реки, то занимая, то уступая какие-то условные высоты и мелкие населенные пункты. Среди прочих дел ему надлежало организовать работу радиопередвижки, только что полученной фронтом из Москвы. Текст передачи, занимавшей пятнадцать машинописных страниц, ему вручил исполненный авторского волнения интендант второго ранга Хохлаков, и Климов, дисциплинированный воин, выдал немцам передачу от первого до последнего слова. Это заняло полчаса. После чего побитая осколками машина надолго вышла из строя. Оказалось, что в здешних условиях — безлесная равнина — передвижка могла работать безнаказанно от силы десять минут, но Климову это было невдомек. Поскольку Климов не был введен в командование машиной, он не являлся материально ответственным лицом, и авторская жадность Хохлакова ударила по карману Поарма. Климова тут же отстранили от обязанностей радиодиктора, ему остались совсем скучные дела: разбор немецкой почты, наставление инструкторов

политотдела да обучение бойцов, желающих подразнить фрицев, несложной брани в адрес Гитлера. Армейские политработники добродушно посмеивались над Климовым, что его прислали на спящий участок фронта, когда в самом непродолжительном времени, возле Ладоги, произойдет решительное сражение. Это была всеобщая уверенность, и Климов знал, что в таких случаях ошибка исключается. Писарь и ездовой узнают о готовящемся наступлении почти одновременно с командованием фронта. И, занимаясь здешними непервостатейными делами, он думал, что пора возвращаться в свою войну. Если идет подготовка к прорыву блокады, строевого командира не станут удерживать во втором эшелоне. Он любил Марусю и не хотел смерти, его в холодный пот бросало, когда он думал о смерти. Он представить себе не мог, что еще недавно без страха шел в бой. И при всем том он не променял бы нынешний страх смерти на прошлое бесстрашие...

...А в Марусин дом нагрянула беда: получили похоронную на ее брата Борьку. Он погиб близ озера Ильмень. Похоронная пришла с неделю назад, когда Климов находился в командировке. В доме уже привыкли, что Борьки нет, и все же Марусина мать будто специально поджидала Климова, чтобы насвежо пережить свою потерю. Почему-то ее особенно угнетало, что во время атаки Борькины товарищи видели, как он снял с головы пилотку, и в ней остались все его отросшие на передовой волосы. Страх и муки сына, испытанные им перед гибелью, терзали ее сильнее, чем сама его смерть, которой она, быть может, не постигала до конца. Климов целовал ее в седую голову, и внутри у него стучало: «Пора... пора... пора».

В тот же день у него произошел разговор с редактором. Неожиданно для Климова тот не стал его удерживать.

И Маруся покидала дом. Их ремонтную бригаду перевели на казарменное положение, теперь они будут тоже чем-то вроде воинской части, им даже обмундирование обещали выдать. В Марусе появилось что-то новое, какая-то отчуждающая серьезность, и Климову подумалось, что она заранее освобождается от него, не желая лишнего горя. Их последний вечер был похож на все другие вечера — в избу набилось много народу, Маруся пела «Средь полей широких», а ленинградская женщина — своего обычного «Турка», седая Ася и почтальонша плясали, и с каменным лицом восседал на лавке старший лейтенант Федя, надраенный, как палуба военного корабля на параде. И хотя Климов никому не говорил, что уезжает, откуда-то это стало известно.

— Что же ты, мёдочка, покидаешь нас? — вздыхала почтальонша.

А ленинградская женщина сказала:

— После войны мы должны встретиться у меня в Ленинграде. Кирочная, 17, квартира 34. У нас прекрасный инструмент. Мы будем петь, танцевать и пить вино. Очень сухое шампанское. Я приглашаю всех присутствующих. У вас не найдется табачку, лейтенант?

Гости ушли по обыкновению сразу и все вместе. Климова не переставала удивлять эта местная особенность: никто не сговаривался, но будто иссякал завод, и люди торопились разойтись. И, как всегда в эти последние минуты, у старшего лейтенанта Феди был такой вид, словно он вот-вот заговорит, объявит о каком-то важном решении, откроет некую тайну,— он улыбался, вздыхал, но рождения слова так и не происходило, и, козырнув, щелкнув ярко начищенными сапогами, он выходил, прихрамывая. А у ленинградской женщины становилось потерянное и жалкое лицо: она боялась темноты, одиночества долгой ночи в чужом доме, и почтальонша обнимала ее за плечи: «Пойдем, мёдочка, людям спать пора», и уводила ее, трепещущую, чуть не плачущую. Но, как ни быстро расходились гости, художник со своей Нюсенькой успевал исчезнуть еще раньше. Они удивительно быстро, легко и дружно засыпали. Климов еще ни разу не застал их бодрствующими. Спали они и сейчас, когда Климов вместе с Марусей вошел в комнату.

Это произошло как-то само собой, когда Марусина мать, пригасив керосиновую лампу, прилегла к младшей дочери, а Любаша забралась на печь. Маруся сама пошла к нему, будто так было условлено. Она пошла прощаться с ним, и Климов понял, что за кажущейся отчужденностью ее — печаль, а не холодность. Они сели на его кровать, а потом легли рядом, и это тоже произошло как-то само собой, и Климов опять стал просить Марусю стать его женой, а Маруся сказала: «Ну, считай меня женой, что тебе — загс нужен?» И они стали целоваться, как еще никогда не целовались, и Климов забыл о войне. Он чувствовал, что между ними нет преград, но боялся обидеть Марусю нетерпением или грубостью.

Вспоминая об этом последнем их вечере, он не мог понять, как случилось, что он заговорил о своих жалких связях. Хотелось ли ему очистить близость с Марусей от памяти о других девушках или то был предлог — полубессознательный — показать ей, какой он зрелый мужчина,— осталось для него тайной. И Маруся ответила ему такой же откровенностью. Старший лейтенант Федя не первый тут женихается, и до него появлялись претенденты на ее руку и сердце, но она всем делала от ворот поворот. «Я даже не целовалась ни с кем!» — с гордостью сказала Маруся, и его покорило, что она ставит это себе в заслугу.

— А у тебя вообще была в жизни любовь? — спросил он.

— Вот те раз! — голос ее прозвучал обидой, и она чуть отстранилась от Климова. — А что же у нас с тобой?

— До меня.

— Такой — нет. Был у меня один человек в Ленинграде, но, конечно, тут никакого сравнения!

— Кто же это такой?

— Да мой хозяин, у кого в работницах жила, — с жуткой искренностью рассказывала Маруся. — Мне из-за него и пришлось уйти, хозяйка зарезновала.

— Сколько же тебе лет было?

— Почти восемнадцать.

— Девочка!.. Вот сволочь!

— Нет, он хороший человек, добрый и невезучий. А я рано вызрела.

— Слишком рано, — пробормотал Климов. Пустота и холод были в нем. До чего пошлая история: домработница путается с пожилым хозяином! Уж лучше бы с Федькой... — И у тебя нет зла к нему?

— Да нет. Тебе неприятно? — спросила она обеспокоенно и нежно. — Знаешь, когда мы будем по-настоящему жениться, я к тебе чистой приду. Есть одна женщина в Неболчах, она девушке лечит.

— Замолчи! — сказал он.

«Как я был счастлив еще несколько минут назад! Черт дернул меня соваться в прошлое! Да нет, куда от него денешься? Она молодец, честно все рассказала. Не каждая решилась бы. Она до конца искренна со мной, наверное, правда, любит. А ведь такой лопух, как я, сожрал бы любую ложь. Она могла ничего не говорить, я все принял бы как должное. Но я не испытываю ни малейшей благодарности к ней за эту откровенность...»

Так и кончилась ничем их последняя нежная ночь. Он еще целовал Марусю, но делал это без души и радости, между ними затесался хороший и невезучий ленинградский человек. И сколько ни твердил себе Климов, что это не имеет никакого значения в их теперешнем, и Маруся ни в чем не виновата, он должен уважать ее за доверие и честность, — что-то в нем намертво захлопнулось. Он говорил себе, что когда-нибудь горько пожалеет о своей холодности, о неуместной ревности к призраку, — ничего не помогало. Она вдруг приподнялась, поглядела на него сверху вниз, тихо, медленно поцеловала в губы: «Ну, ладно!» — рывком поднялась и вышла из комнаты.

Она ушла, оставив на подушке свое тепло и запах. Он прислушался к себе и понял, что не должен ее звать.

Что же было потом? Сейчас, на тряской полке вагона, вспоминая свою жизнь, он готов был сказать: «Ничего не было». Маруся ушла в то же утро, он прожил там еще несколько дней, ожидая назначения, и каждый вечер, как ни в чем не бывало, являлся чистенький, с иголки, старший лейтенант Федор и садился у окна, забегали седая Ася и почтальонша, приходила ленинградка и, страдальчески кривя губы, пела про страстного турка, а уходя спрашивала: «Табачку не найдется, земляк?» — но в отсутствие Маруси все словно умерло, осталась внешняя видимость лиц и поступков, в них не отражалось никакой сути.

Пока он оставался дома, он лишь скучал о Марусе и жалел — как жалел! — о своем дурацком поведении в последнюю ночь; настоящая тоска пришла позже, когда морозным, солнечным осенним синим утром он покидал Ручьевку. Дома не было ни души, он сложил на столе только что полученный командирский доппаек, две пачки табаку для ленинградки и оставил прощальную записку. В дверях он обернулся и посмотрел на пустой стул и край стола, за которым в день его прихода работала золотая швея, и шагнул за порог, как в омут, в зверскую тоску.

Чтобы не разреветься, он до самого разъезда орал во все горло неаполитанский романс, который исполнял тенор Печковский:

Прощай, чудесный край, невозвратимый,
Тебя навек я с грустью покидаю...

Так что же все-таки было потом? Была война, бои, прорыв блокады, госпиталь, и новая война, и много страшного. Но он был хорошим лейтенантом, не идущим ни в какое сравнение с тем, кто не боялся ни пуль, ни снарядов. Вот только перекура больше не было... И он кончил войну в Берлине капитаном, а там его оставили на долгую, хлопотную и аскетическую службу в Германии, казавшуюся необычайно важной. А потом институт, работа, случайные связи — одна из них, с замужней женщиной, длилась шесть лет, все равно оставаясь случайной; попытки добиться самостоятельной работы, обиды и разочарования, отъезд в Среднюю Азию... В общем, ничего не было, какая-то не своя, случайная жизнь. Да, вот так оно нередко бывает — сперва все откладываешь свою жизнь, потом и вовсе перестаешь жить. Он откладывал жизнь, откладывал Марусю, находя ей заменителей по жесту руки, взмаху ресниц, повороту головы. И за все эти годы он так и не написал Марусе. Вернее сказать, он написал ей много писем мысленно, но такие

письма не доходят. А потом он не то чтобы забыл Марусю, он перестал о ней думать. Она принадлежала безвозвратно ушедшему времени, а надо было существовать в настоящем, которое упорно не складывалось. А потом было творчество или его суррогат, давший суррогат удачи, и наконец то, что привело его на эту вагонную полку, и это уже не было суррогатом...

...Он спрыгнул на низенькую асфальтовую платформу. Впереди исходил паром старый трудяга-паровоз. Не нынешний куций, аморфный, бесшумный и какой-то бесполой электрический возница, а мужественный, хоть и малость запыхавшийся, припотевший от усталости, совсем как из дней его детства, трубастый, рычагастый локомотив. Прекрасный старинный звук паровозного гудка ушел в осенний простор, состав дернулся, лязгнул сцепкой и отправился в дальнейший путь, к Ленинграду, через Неболчи — Будогощь. Открылась другая сторона разъезда: припорошенный гарью орешник, почти облетевшие березы и устье проселочной дороги, убегавшей к Ручьевке. Самой деревни не было видно даже крышами, так выросли деревья между нею и разъездом. Как и прежде, устье дороги было отмечено плоской лужей с радужно-глянцевитыми берегами — сюда стекало с путей паровозное масло. А вот просеку, где некогда хоронился поезд-типография, он не мог обнаружить, как ни вглядывался. Прежде она угадывалась с разъезда. Видно, лес заштопал эту прореху. В остальном разъезд не изменился: те же кусты, березы, будочка стрелочника, семафор, вот только щербатая асфальтовая платформа да вокзалец чуть побольше будочки стрелочника принадлежали новине, но не они же превращали Климова в чужака. Он не находил себя здесь. Он ждал, что к нему сразу хлынет его юность, слившаяся с этим закоулком вселенной, с любовью к Марусе, с коротким счастьем посреди войны. Но юность и не думала возвращаться, она тихо покоилась на кладбище времени, и Климовым овладела растерянность человека, вдруг обнаружившего, что он сошел не на той станции.

Климов поглядел в ту сторону, куда ушел поезд. Рельсовый путь стрелой врезался в лес, и казалось, вдалеке лес смыкается, съедая полотно. И поезд, скрывшийся там, ломил напролом сквозь чащу, и пар его перетруженного дыхания плыл назад, к полустанку. Когда-то Климов дважды, без передышки, отмахал по этим шпалам до Неболчей и обратно. Отхватил пятьдесят километров за двенадцать часов ради дела и любви. Он смотрел на рельсы, на лес, вспоминая, что за лесом будет долгое пустое пространство — заболоченные ярко-зеленые луга, а потом пойдет другой лес — жидковатый ольшаник, и не верил, что действительно выша-

гал все эти версты. Трудно было представить, что хватило физических сил, и совсем уж невозможно, что хватило сил душевных. А он шел, и посвистывал, и был горько счастлив, хотя и злился на Хохлакова, на его чиновничью трусость. Он уже предчувствовал разлуку, но так был полон своей любовью, что не страшился разлуки. Он не исключал даже будущего, пехотный лейтенант, командир стрелкового взвода, отпущенный войной на перекур. Мог ли он думать, что никакой встречи не будет, хотя война обойдется с ним на редкость милостиво, и что не на роковых поворотах судьбы, а в мелочах случайной жизни растрясет он короб своей юности и любви! И после этого совсем дико выглядит, что, перешагнув за сорок, он вдруг пустился в погоню за призраком былого. Но, может, жизнь человека лишь внешне непрерывна, это на поверхностный взгляд кажется, будто человек втекает в юность из детства, в зрелость из юности, а в старость из зрелости? На самом же деле это замкнутые в себе, не признающие преемственности сферы. Маруся исчерпала себя, завершилась в юности и вовсе не сопровождала его всю жизнь. Но что же тогда погнало его сюда? Во всяком случае, нечто, присущее данной поре его жизни, поре постарения, а Маруся и вся его ребяческая любовь — просто рабочая предпосылка. Так ли?.. Бог его знает, черт его знает! Живешь с самим собой, как с таинственным соседом, которого и в глаза не видел, хотя все время чувствуешь, что он здесь, рядом, шепуршит за стеной, фальшивые деньги печатает. Какая тоска! Когда же приходит понимание себя, да и приходит ли оно вообще? Быть может, это судьба всех бездарных, со слабо окрашенной душевной жизнью людей — существовать вдалеке от себя, подчиняясь мгновенным толчкам, а не истинным, познанным велениям глубинной сути? Ну, а лучшие, высшие люди в человечестве — знали они себя? Знал ли Пушкин, что он устал, измучился жить, когда вступил в кавалергардский спор с Дантесом? Знал ли Лермонтов, что совершает самоубийство, когда оскорблял тупо-обидчивого и тупо-беспощадного Мартынова?.. Климов вдруг почувствовал усталость, просто физическую усталость, словно он не на поезде сюда ехал, а топал по шпалам из самых дней юности. Он перешел железнодорожное полотно и остановился над радужной лужею, словно у стартовой черты. Окружающий мир отражался в луже значительно и грозно, как перед гибелью: прозрачно-голубое легкое небо погожей осени обретало в тонкой темной воде мрачную, бледно-свинцовую озаренность, жидкий орешник был там не поросль, а черной каменной оградой, и косо опрокинулась в болотную белесость удлинённая, печальная и бессмысленная фигура искателя минувшего.

Так чего же ты хочешь, чего ждешь, друг мой Климов, от пожилой крестьянки, которая двадцать с лишним лет назад девушкой Марусей целовалась с молоденьким лейтенантом, твоим тезкой и однофамильцем? Я не знаю: пожалуй, одно лишь мне нужно: чтоб она была, какая угодно, только бы была. Прижаться седой башкой к ее плечу, хоть руки ее подержать, и на том спасибо. Я все понимаю и не жду чуда,— заколдованные царевны сохраняют молодость на десятилетия, не колхозницы. И пусть — куча детей, муж-выпивоха, лишь бы она была. Нет, жизнь человека не рваная цепь, чепуху я себе наговорил... Ну, а если ее не окажется, я узнаю, где она, и поеду дальше. Я все равно ее найду, а что будет потом — то уже другая моя жизнь, о ней я ничего не знаю. Ты боишься разочарования, какой-то выдающейся пакости, на что так щедра жизнь, и пытаешься заговорить зубы судьбе и себе самому. Пустое... Все будет так, как будет,— беспощадно, это уж точно! Ну, двинулись, самое трудное — первый шаг...

Орешник остался за спиной. Климов шел по гати, проложенной через необширное болотце. Он и забыл, что здесь была гать, в памяти сохранилась твердо найденная дорога. Она и началась за бугром, поросшим ивами, совсем зелеными, будто лето в разгаре. Дорога шла по равнине. Далекий лес за этой равниной казался морем — синим и вертикальным, как и всегда море издали. И даже долгий пригляд не уничтожил иллюзии — темно-синие, слоистые, громогласящие ярусами купы стеною далекого моря уходили в небо.

Грачи сбивались в стаи, готовясь к отлету. Несколько больших стай Климов видел, когда еще шел по гаченой дороге, а здесь, в поле, они чернели облаком. Громадное облако пересыпалось в себе самом, расслаивалось, и слои двигались навстречу друг другу — сновали, но во всей этой кутерьме не было хаоса, сложное перемещение птиц управлялось какими-то законами, правилами движения, более строгими и точными, чем на городских улицах. Беспорядок вносили никуда не улетающие, невесть зачем примкнувшие к стае вороны. Они замешивались в грачиную рать, бессмысленно трепыхались в ней, а затем с печальным, разочарованным карканьем отваливались прочь. А может, эта стая выжимала их из себя, как постороннюю нечисть.

Климов забыл, что дорога вдруг отворачивалась от поляны и втискивалась в мелколесье. Ее устилали винно-красные листья осин и желтые — берез. У подножия янтарного соснового пня толпились сороки и вороны. Они кричали, подпрыгивали с угрожающим видом, словно играли в зловещих хичкоковских птах. Неспроста затеян был весь этот кагал: к пню прижалась боком огненно-рыжая лиса.

Видать, она чем-то провинилась перед птицами, и сейчас пришла расплата. Появление Климова испугнуло стаю, птицы стали с шумом разлетаться, стреляя в Климова злобным взглядом из круглого темного зрака. Обалдевшая от страха лиса очнулась, внимательно поглядела на Климова и, вытянув палкой хвост, метнулась прочь. Раз-другой огнисто вспыхнула рыжей шубой и сгнула.

Редкий сквозной лесок искусственной посадки, прорезанный длинными коридорами, упирающимися на востоке в тусклую бледность, на западе — в розовато-ясный свет, был густо населен. Зимние птицы покинули чащу, чтобы с наступлением морозов перекочевать в деревенские палисады, огороды и колхозные дворы. Синицы-лазоревки в синих беретиках, синицы-гаечки с черным хохолком, большие синицы с черными бархатными щечками, помазанными сметаной, чечетки в красных ермолочках, акробаты-поползни трудолюбиво искали скудный корм в редняке. Климов давно не бывал в осенней среднерусской природе, и ему стало нежно от вида лесной хлопотливой жизни. На худой конец можно считать, что он вот за этим и ездил: за грачами, строящими отлетные стаи, за пискливыми синицами и поползнями, лишенными представления, где верх, где низ.

Навстречу ему попала старуха в темной плюшевой жакетке и белейшем, тщательно повязанном платке, открывавшем смуглое, гладкое на скулах и подбородке, изморщиненное вокруг глаз живое маленькое личико. По деревенскому вежливому обычаю старуха поздоровалась с Климовым: «Здравствуй, милый человек», — и улыбнулась пустым ртом. «И вот ради этого я ехал, ради этой старухи...»

С боковой тропки вышла нестарая, похоже, женщина — Климов не заметил ее лица — и пошла шагах в десяти от него в ту же сторону. Климов сразу понял, что он ехал и ради этой статной женщины. Ради нее в первую очередь, думал он радостно, глядя на нее, всю как из одного куска сложенную, с мускулистыми ногами в сапогах, красиво обрезающих краем голенища крепкие икры, с тишиной и надежностью округлых сильных плеч. И было привлекательно то спокойствие, с каким она шла под взглядом следующего по пятам мужчины. Женщины всегда чувствуют, когда им слишком пристально глядят вслед, это мешает им, давит на плечи, сбивает походку. Но эта плевать хотела на Климова, она шла легко и свободно, крепко давя сапогами палую сухую листву.

А вдруг жизнь решила сделать ему неожиданный подарок и вместо безнадежно потерянной Маруси прислала эту прекрасную женщину? Какие тут красивые люди, в этом крае! Возможно, они были прежде знакомы, хотя, скорей всего, была она тогда сопли-

вой девчонкой. А что, если он, сам того не ведая,— Дракон, и Ручьевка по древнему договору обязана жертвовать ему своей лучшей женщиной, когда он появляется, источая запах серы и смолы?..

Климов прибавил шаг и почти нагнал женщину. Та, конечно, слышала его быстрые шаги, но не оглянулась, не остановилась, чтобы пропустить спешащего человека, а продолжала идти так же широко, легко и отрешенно, как прежде. Теперь Климов видел ее словно в увеличительное стекло: светлую полоску на загорелой шее за краем шелковой, по-городскому повязанной косынки, штопку на локтях вязаной, старой, видно, рабочей кофты, дырку на чулке и нежную, беззащитную кожу в этой дырке, ее загрубелые руки с тоненьким обрубальным колечком на безымянном пальце.

Климов еще прибавил шаг, обогнал женщину и резко повернулся. Он увидел круглое загорело-обветренное лицо с темными, лиловыми губами, немного запавшие светлые глаза, прядку золотых с проседью волос на чистой крутизне лба — он увидел Марусю.

— Алексей Сергеич! — сказала она своим прежним, совсем не изменившимся звонким голосом.— Какими судьбами?

— Вот... приехал.— Климов откашлянулся и повторил: — Приехал вот.

— Господи, надо же! — Она смешно, как-то укориженно всплеснула руками.— Леша приехал!..

С возрастом все меняются, особенно в приближении старости: седина, морщины, редеют волосы, блекнут глаза. У женщины раньше всего стареет шея — дряблеет, покрывается навсегда гусиной кожей. Все это в порядке вещей, но и в старце проглядывает ребенок, каким он когда-то был. С Марусей произошло что-то невероятное, какое-то физиологическое перерождение, о ней даже не скажешь: постарела, она стала другой. Прежде всего изменились краски, северные — на южные: коричневая кожа, багрец на скулах, лиловый рот и темно-серые, с просинью, а не серо-голубые, как прежде, глаза. Волосы, правда, обесцветились, но это лишь подчеркивало горячие краски лица. И она как будто выросла, наверное, оттого, что похудела, подобралась, стала уже и суше в теле. Да и черты лица обострились, пожестчали. Черт возьми, он был готов к встрече с постаревшей, подурневшей, утратившей всякую прелесть Марусей, но никак не ожидал встретить эту незнакомую меднолицую красавицу.

— Вы по делу здесь? — спросила Маруся.— В командировке или как?

Она утратила свое старательно-городское произношение и говорила с обычной местной певучестью.

— Я к вам приехал,— сказал Климов, бессознательно перенимая от нее это «вы».

— Как понять — к нам? В колхоз или ко всей местности?

— Да нет. К тебе я приехал.

Маруся засмеялась. Она даже остановилась, чтобы отсмеяться вволю. Красивой темной рукой вытерла глаза.

— Зря смеешься. Я правду говорю.— Это прозвучало резко и от неловкости фальшиво.

— Веселый! — сказала Маруся.— Раньше вы таким не были. Вас тут «грустным лейтенантом» звали.

— Да какой же я был грустный? — искренне удивился Климов.— Я никогда таким веселым не был.

— Ну, что вы! Молчаливый, глаза грустные-грустные. Как у Лермонтова! — Маруся засмеялась.

Мы начисто не видим себя. Он казался себе болтливым, общительным, восторженно-веселым. Человеку так же неведом рисунок его внешнего поведения, как звук собственного голоса.

— А я вас и полюбила-то за грусть,— сказала меднолицая женщина, притворяющаяся Марусей.— Нет, правда!.. Каким ветром вас сюда занесло?

— Тебя хотел увидеть, ничего больше,— без всякого подъема сказал Климов.

— Да будет вам! — в голосе ее прозвучала усталость.— Сколько лет прошло. Небось и не узнали бы меня, если б на людях встретили.

— Ты, правда, очень изменилась.

— Постарела. Годы идут.

— Нет, не постарела. Просто другой стала.

— В такую уж, верно, вы не влюбились бы? — Маруся снова засмеялась. Это тоже было новое в ней. Прежде она и улыбалась-то редко, а смеха ее он почти не слышал.

— Ну, почему?..— любезно начал Климов и вдруг с болью ощутил, что любит не ту далекую девочку Марусю, а эту жарколицую, с лиловым ртом и алыми скулами, с суховато-крепким, рабочим телом немолодую женщину.

— Ты мне опять прекрасна, Маруся,— сказал Климов.

— Будет вам! — она махнула рукой.— Наслушалась я этих слов, верила им...

— Скажи еще, что всю жизнь ждала...

— Ждала!.. Видит бог, ждала!.. Хоть письмишка, хоть весточки какой. Я уж думала: убили. А потом мне кто-то сказал: в Берлине вас видели. Да это Виктор Николаевич, помните, художник, он рисовать сюда приезжал.

— Ну, и ты, конечно, хранила мне верность, отказала всем жёнам, осталась одна-одинешенька?

Она усмехнулась.

— Муж у меня, пацан уже большой. А у вас кто?

— Никого. У меня нет семьи.

— Да как же? — испуганно произнесла она. — Разве так можно?

— Выходит, можно. Не сложилось. Я очень тебя любил, после так не получилось, а без любви кой толк в семье?

— Очень даже большой толк! — сказала она убежденно. — Знаете, говорят: стерпится — слюбится. Без семьи, без детей — жизни нету, одно баловство.

— Не тебе об этом судить.

— Кому же, как не мне? Как я любила тебя, Леша, ты и вообразить не можешь! И верила, и ждала. А потом поняла — не будет тебя, и смирилась. Жить и без счастья можно.

— Это мне известно.

— Нет, я о другом говорю. С детьми полная жизнь. И живешь хорошо — сердцем... Бабьего счастья нету, ну и бог с ним! В памяти есть такой уголочек, куда никто не заглянет, и на том спасибо. У других и того нет, а живут.

— Ты что же, не любишь мужа? — это спросилось не легко, но, слава богу, спросилось.

— Ну, уж и не люблю! Как так можно — жить с человеком и вовсе не любить? Конечно, люблю... уважаю... Врать не хочу, чего к тебе у меня было, к нему нету. Это точно! Очень я его ценю и уважаю и в жизни ни на кого другого не взглянула, нельзя меня упрекнуть... Нет, не люблю я его. Разве можно дважды любить?

— Наверное, нет, — сказал Климов. — Я вот не сумел. Теперь ты веришь, что я к тебе ехал?

— А я сразу поверила, только признаться себе боялась. — Она заглянула Климову в глаза. — Плохо тебе, Леша? Нету успеха в жизни?

И странно, когда она так спросила, все последние события в его жизни, которые справедливо было бы расценивать как удачу: международная премия, вызов в Москву, новая работа — представились Климову настолько ничтожными, что он без тени фальши сказал:

— Плохо, Маруся.

— Бедный... Ну, а работаешь где?

— В кино. Режиссером. Я долго не мог пробиться, но сейчас все в порядке. Не с работой у меня плохо, с душой. Я по тебе затосковал...

— Нет, Леша,— сказала она строго,— ты меня не запутывай... Не по мне ты затосковал, по молодости, а может, и по семье... Значит, верил ты в мою любовь? Почему же отказался от меня?

— Не знаю,— сказал Климов.— Я ничего не знаю. И не отвечаю за поступки странного и непонятого человека, каким я когда-то был.

— А я вот за все свое отвечаю,— тихо сказала Маруся.

— Завидую.

— Ну, а зачем ты все-таки приехал? — как будто и не было всего их разговора, спросила Маруся.

Наверное, надо было сказать: я приехал за тобой, но он не отважился произнести эти слова. Он испытывал странную робость перед этой новой Марусей.

— Неужели непонятно?

— Нет.

— Мне надо было увидеть тебя.

— Ну вот, ты видишь, дальше что?

Если б она хоть улыбалась, задавая эти короткие, резкие вопросы, но ее лиловые губы смыкались плотно и жестко.

— Да что ты, как судья?

— А я и есть судья,— так же жестко сказала она.— А ты подсудимый.

— За что ты меня судишь?

— За нас двоих: за тебя и за меня... Эх, Лешенька, чепуха все это! Мне тебя не судить. А и судила б, все равно оправдала бы... Только приезжать тебе не стоило. И опять не то говорю... Значит, нужно было, коли через двадцать лет собрался. Слава богу, что приехал, хотя увиделись перед смертью.— Она остановилась.— А мы ведь и не поздоровались толком. Здравствуй, Леша.— Она обняла его и прижала твердый рот к его губам.

«И не боится, что увидят»...— мелькнуло у него.

...А вот Ручьевка совсем не изменилась: те же дома и палисады, то же чугунное било на бугре, тот же вид опрятности, прочного быта. По пути он расспрашивал Марусю о ее родных и тех немногих общих знакомых, какие у них были. Маруся отвечала, как-то странно и радостно спохватываясь при каждом вопросе, хотя порой и не было повода для радости. Мама? Давно померла мама, лет десять тому назад. Сестры? Любаша учительница, замужем за директором школы тут, в Неболчах, а Нинка в самом Ленинграде обосновалась, она корабельный институт окончила. «Я одна в семье необразованная»,— улыбаясь, говорила Маруся. Она работала на ферме телятницей. Муж ее — колхозным электриком. Больше ничего о муже сказано не было, а Климов не расспрашивал. Ле-

нинградская женщина уехала еще во время войны, может, в Ленинград вернулась, может, померла. Седая Ася здесь живет, теперь она и взаправду седая, пятерых детей растит, а муж от желудка прошлым годом помер. Почтальонша Лида совсем беззубая стала, замуж так и не вышла, но веселая, заводная, как прежде. Маруся называла имена еще каких-то своих подруг, уверяя, что Климов должен их знать, они бывали в доме на посидухах, но лица их не оживали в памяти.

— А на гитаре ты еще играешь? — спросил Климов.

— Замужним на гитарах играть не положено. Это для молодых да холостых занятие.

— Почему? Какая тут связь?

— Ну, это в городе так. А у нас не принято. Вдовы, холостые есть даже на гармошках играют. А коли ты жена, так уж соблюдай себя. Гитара — она чтоб завлекать. Помнишь, как я тебя завлекала? — Маруся звонко и громко засмеялась.

«Какой прекрасный у нее смех! — растроганно подумал Климов. — Только очень хорошие, свежие и сохранившиеся люди могут так смеяться!»

— А ты помнишь «Средь полей широких»?

— Вот что ты помнишь — удивительно! Видно, и впрямь запали тебе в сердце ручьевские дни.

— И ночи.

— Вот ночей-то у нас с тобой не было. А жаль... — она искося, насмешливо посмотрела на Климова.

— Были и ночи, ты забыла.

— Разговоры... Да еще на приступочке целовались. И ничего у нас не было. А почему, Леша?

— Наверное, потому, что я любил тебя очень...

— Нет, тут другое. Повернулось в тебе что-то или сломалось тогда, не знаю. Ну, дело прошлое... Слушай!

Средь полей широких я, как лен, цвела,
Жизнь моя отрадная, как река, текла.
В хороводах и кружках — всюду милый мой
Не сводил с меня очей, любовался мной.

И снова, как тогда, на переходе ко второй строке сладко оборвалось в нем сердце и захотелось совершить какой-то добрый, жертвенный поступок. Боже мой, человек меняется до неузнаваемости, но что-то в нем длится вечно, и это уходит корнями в его подпочву, в основу основ. А Маруся стала петь еще лучше, голос у нее налился, заполнил грудь.

— Ты неправду сказала, что бросила петь.

— А я и не говорила. Я под гитару не пою. А так все время пою, особенно на ферме. Телята мой голос обожают...

Все подружки с завистью всё на нас глядят,
«Что за чудо парочка!» — старики твердят...

И уже не спела, а проговорила с шутливым вздохом:

А теперь желанный мой стал, как лед зимой,
И все ласки прежние отдает другой...

— Вот уж чего нет, так нет,— сказал Климов, но ему трудно было поддерживать этот шутливый тон.

Ему хотелось быть таким, каким он ощущал себя на самом деле: серьезным и печальным, ведь все происходящее было исполнено главной печали жизни — невозполнимой утраты времени. Ему хотелось, чтобы Маруся уехала с ним; при этой мысли он словно птенца в себе давил, какой-то жалкий писк раздавался возле сердца. Но он не верил, что сможет сказать об этом Марусе. Она вела себя с ним так, будто прошлое не истратилось в ней до конца, она целовала его, говорила нежные слова, он чувствовал ее волнение, и все-таки сказать ей простое и вовсе необходимое: «Маруся, уедем со мной» — он не мог, в странной убежденности, что все сразу рухнет — доверие, откровенность и милая любовная игра, в которую она пыталась его вовлечь. Наверное, трудно в минуту решиться на то, что откладывалось двадцать лет.

Но почему Маруся кажется ему сильнее, спокойнее и увереннее, словно она наверху, а он внизу? Ну, замуж вышла, ну, ребенка родила. Для этого, как известно, ума не требуется. Сестер в люди вывела? Это посерьезнее, хотя по условиям деревенской жизни и не так уж сложно. Здесь люди растут естественно, сами собой, как деревья или трава, думалось Климову. Уж если правду говорить, ему, коренному москвичу, приходилось в родном городе куда труднее...

Но потом мне стало легче, и все же я не выходил ничьей судьбы. Я всегда отвечал лишь за одного человека, за себя самого, но долго же не давалось мне наставить этого человека на правильный путь. Да и удалось ли вообще?.. В чем же дело? Неужели я так же боялся жизни, как некогда смерти? А ведь Маруся вывела меня тогда из смертного оцепенения, пробудила желание жить. Быть может, я приехал сюда за исцелением? Мой холостяцкий эгоизм безнравствен, в душевной пустыне мне никогда не создать ничего жемчужного. Но неужели во всем мире только она, Маруся, может исцелить меня? Да, потому что я люблю ее. Что это значит? Я хочу держать ее за руку, хочу выплакаться ей в колени, хочу, чтоб мы

все время были вместе, хочу, чтоб она была моей женой перед богом, и людьми, и загсом, и чтоб была свадьба, и на Марусе белое платье, а на мне дурацкий черный костюм, и чтоб пьяные, равнодушные гости орали нам: «Горько!» — хочу всей этой чепухи, которую раньше и в грош не ставил...

Они подошли к Марусиному дому, она пропустила его вперед. Климов поднялся на крыльцо, прошел в сени и легко нащупал в полутьме железную холодную ручку двери. Сейчас он войдет в просторную чистую кухню с русской печью, большой и белой, как корабль, и увидит у окна комнаты золотую швею и набело переживет свою жизнь, окажется единственным человеком, которому дано исправить все ошибки, вернуть все утерянное, исключить все случайное, наносное, непонятное, отделить истинные ценности от мнимых...

Он распахнул дверь, все было как прежде, не хватало лишь золотой швеи, девушки в горячем солнце с головы до ног. Вместо нее из комнаты появился крупный головастый мальчик лет двенадцати.

— Булку купила? — требовательно спросил он.

— Чернушкой обойдешься, — ответила Маруся. — Знакомьтесь, мой Вовка-дармоед.

— Здравствуй, — сказал Климов, протянув руку.

Мальчишка хмуро поздоровался, и Климов почувствовал его недобрую настроенность.

«Но и мне опасен этот большеголовый хмурый мальчишка. Мне все здесь опасно: и городская мебель в чистой комнате, и весь отчетливый достаток дома, приобретенный трудом, годами, терпением. Это не то, что мое городское барахло, которое я разом купил по случаю из постановочных. Тут каждый стул, и этот вот радиоприемник, и проигрыватель несут печать хозяйских усилий».

— Раздевайся, — сказала Маруся. — Хочешь умыться?

...Климов чистил свою электрическую бритву, когда вернулся с работы Марусин муж. Он услышал, как Маруся радостно сказала:

— А у нас гость — Алексей Сергеич Климов!

— Понятное дело, — странно отозвался муж.

Климов вышел на кухню поздороваться. Перед Марусей, чуть потупив круглую крепкую голову, почти лысую на темени, стоял коренастый человек в спецовке, резиновых сапогах, ватнике, и Климов понял, почему тайный инстинкт не дал ему спросить раньше о Марусином муже. Оказывается, в глубине души он знал, что встретит старшего лейтенанта Федора. «Высидел-таки!» — вскричалось в нем с завистливым восторгом.

— Здравствуйте, Федя! Сколько лет, сколько зим.

— Здравия желаю! — бесшумно щелкнул тот резиновыми кабелями, и Климов решил, что Федор нарочно спародировал воинское приветствие, чтобы избежать рукопожатия.

Ему стало обидно, сколько лет минуло с их соперничества, а тот все еще держит сердце против него. «О чем это я? — словно проснулся в самом себе Климов.— Тоже еще — «фронтовой корешок» явился! Я приехал отобрать у него жену. Неужели он это понимает? Чепуха, подумаешь, провидец! Мало ли почему я мог оказаться здесь, приезжал же художник на этюды. Да нет, он любит жену, а это делает догадливым. Быть может, он еще не осознал случившегося, но по-звериному безошибочно ответил на скрытую угрозу моего появления: избежал физического соприкосновения. Да, мне будет весьма и весьма неуютно, мужчины дома раскусили меня».

И тут к нему пришла неожиданная помощь:

— Сейчас пообедаем, — хозяйским голосом сказала Маруся.— После Алексей Сергеич отдыхать ляжет, а ты ступай за Аськой и Четвериковой. Кто тогда еще в деревне был? Всех зови. Скажи, грустный лейтенант о нас вспомнил... И вина побольше купи, слышишь?

— Понятно, товарищ начальник! — отозвался Федор почти весело.

«Маруся — глава дома! — обрадовался Климов.— Да иначе и быть не могло, он же ее добивался! Хотя бывает порой: перед невестой благоговейт, а жену кладут под пресс. Слава богу, здесь этого не случилось, наш старый друг Федя довольствуется ролью мужа-подкаблучника...»

Все так и было, как распорядилась Маруся. К вечеру явились две пожилые усталые женщины: седая Ася, ставшая совсем белой, и смешливая почтальонша с беззубым старушечьим ртом. Обе обрадовались Климову до слез, а может, то были обрядовые слезы, но, скорее всего, ритуал бессознательно сочетался с искренней печалью о канувшей молодости. Пришли какие-то мужики, которых Климов начисто не помнил, а они вели себя, как старые знакомые, хлопали по плечу, насмешливо упрекали за седину, хотя сами были лысы.

Старые «девчата» с помощью хозяйственного Вовки стали накрывать на стол, Федор с серьезным, не улыбочивым терпеливым лицом натужливо извлекал чудовищно тугие пробки из жерла винных бутылок и легким пинком под зад открывал «малышей». Маруся куда-то отлучилась, а когда вернулась, на ней было белое платье с черным поясом, совсем как в дни юности. И тогда Климов вы-

хватил из кармана папиросы и кинулся в сени, якобы не желая дымить в комнате, и там, в темноте, долго стоял, прислонившись лбом к какой-то балке, и ждал, когда вытекут слезы.

Много ели, много пили и тосты поднимали за военные годы и за всех присутствующих, за Климова в первый черед. Федор только пригублял, за весь вечер и с одной стопкой не справился, но заботливо следил, чтобы у всех было полно. Как только Климов ставил пустую стопку на стол, он немедленно тянулся к нему с бутылкой. Он вовсе не желал спить Климова, а почитал это своей хозяйской обязанностью.

Климова расспрашивали о его жизни и работе, о Москве — как там сейчас с предметами широкого потребления. Ручьевцы тяготели к Ленинграду, о столичных делах были мало осведомлены. Их интересовало почему-то жилищное строительство, хотя вроде никто в Москву переезжать не собирался, а еще больше — новый Кремлевский дворец и гостиница «Россия». Люди жили здесь широко, не утыкаясь носом в собственный плетень. Но особенно до тошно расспрашивали они Климова о его жизни и делали это в такой прямой, серьезной, дружелюбной, но и строгой манере, что нельзя было ни уклониться от ответа, ни отделаться шуткой. Они дружно осудили бессемейность Климова, но и пожалели его за одиночество; удивительно отчетливо поняли все сложности его кинематографического пути и порадовались, что теперь он в работе сам себе голова. Так же одобрительно отнеслись к тому, что он опять московский житель, при квартире и машине. Последнее сказало как-то случайно, и Климов пожалел о своем невольном хвастовстве. Но тут выяснилось, что один из присутствующих, заведующий фермами, недавно сменил «Москвич-407» на «408», и Климов успокоился. К тому же он вдруг понял, что Марусе нравится, когда он говорит о себе хорошее. Пожалуй, ей было бы по душе, если б он еще щедрее расписал свои достижения. Поначалу ей, наверное, казалось, что он пришел сюда, добитый жизнью, приполз за спасением к старому порогу. А сейчас она гордилась им, и собой гордилась, что вовсе не душевным погорельцем явился он к ней через столько лет. Но тут она ошибалась, в каком-то смысле Климов все-таки был погорельцем.

Потом играли на баяне, пели, и «девчата» что-то все приставали к Марусе. И она вдруг сказала:

— И сыграю, подумаешь, дело какое! — ушла в сени, долго там чего-то искала и вернулась с пыльной гитарой.

— Боже мой! — Климов сразу узнал старую знакомую. — А ты не разучилась?

— Да я ж и не умела никогда.

Она обтерла инструмент тряпкой, долго настраивала, потом села, знакомо положив ногу на ногу, наклонилась к деке:

Средь полей широких я, как лен, цвела...

Впервые Федор улыбнулся доброй, неразвернутой улыбкой, показав темные обкуренные зубы. Не о самом лучшем времени напминала ему эта песня, но, любя Марусю, он радовался каждому движению жизни в ней. Вот она играет, поет, вспоминает молодость, ей хорошо сейчас, и Федор был счастлив. Климов с удивлением, почти со стыдом обнаружил, что любит бывшего старлея Федю. За то, что он так предан Марусе, верно служит ей, делит горе и радость, за то, что при нем изо дня в день свершалась тихая прелесть Марусиной жизни...

Климову было нежно и грустно, и к концу вечера он совсем уже смирился, что предпринял путешествие в прошлое ради этого вот сельского банкета. Покидая дом, все целовали Климова, и он растроганно целовал табачные рты мужчин и сухие губы стареньких «девчат». Хорошо посидели...

Когда он уже лежал на раскладушке в кухне с полупогасшей папиросой в руке, вошла Маруся в своем белом платье с черным поясом, но уже с распущенными на ночь волосами и сказала, не особенно понижая голос:

— Помнишь лесок, где мы раз встретились? Приходи туда завтра к полудню.— Коснулась его руки и притворила за собой дверь.

Он проснулся поздно, с тяжелой головой, в пустой избе, вспомнил о назначенном свидании и устрасился его...

...Климов не сомневался, что без труда найдет то лесное место недалеко от опушки, где некогда повстречался с Марусей. Он несколько опасался коварства разросшейся, изменившей свой рисунок Ручьевки— это она только притворялась вчера, будто осталась прежней. Но деревня, спутав его раз-другой обманно знакомыми проулками, вскоре выпустила за околицу,— и вот когда начались неприятности. К лесу полагалось шагать густым разнотравьем, а тут темной стенкой стал молодой сосняк искусственной лесопосадки и сразу сбил с толку. Деревца были иглистые, пушистые и не мелкие— в полтора человеческих роста. Климов намаялся, пока одолел сосняк, а там новая неожиданность. Перед ним простиралась стерня, присоленная поплывшим на солнце утренняяком, а ему эта земля помнилась в ромашках, колокольчиках и тех клейких цветочках с бордовыми метелками соцветий, что обычно сопутствуют колокольчикам. За стерней лес казался дру-

гим — выше, реже, прозрачнее, он проглядывался далеко вглубь. А вдруг он вообще не найдет назначенного места?

Тропки, что вела к поезду-типографии, и впрямь не оказалось, как ни искал он ее. В лесу всякая трава уже умерла, и в бурых, сухих съезжившихся кусточках никак не угадывался пышный черничный ковер. Климов стоял в раздумье, глядя, как пластаются на земле желтые березовые листья, прилетая сюда невесть откуда,— вблизи не видать было берез. Пахло нежно и горько, как и положено пахнуть одиночеству.

Пойти напролом, куда глаза глядят? Ввериться бессознательным велениям, авось они приведут его к цели? В конце концов, не так уж трудно найти друг друга в сквозном, словно расплзшийся шелк, лесу. Странно, что Маруся так нечетко назначила место встречи. Да нет, ей казалось, что он так же хорошо знает это место, как и она, никуда отсюда не уезжавшая. Но это не в ее духе, она человек точного сердца и не могла так жестоко ошибиться.

Марусины руки — он сразу узнал их — легли ему сзади на глаза. Он стоял не шелохнувшись, переживая счастье прикосновения, ее прихода и своего спасения. Затем медленно разжал кольцо ее рук.

— Не надо целовать, у меня руки плохие стали,— сказала Маруся.

— Как ты нашла меня? Тут все переменялось, я ничего не узнаю.

— А я и не искала. Ты сам пришел, куда надо.

— Да нет же, тогда мы встретились в глубине леса.

— Тут высоковольтную вели и сильно порубили лес по краю. А мы как раз где надо сошлись.

Маруся рассчитывала на ту его память, о которой он и не подозревал. Его поразило: неужели она и такое знает о человеке?..

— Пойдем,— сказала Маруся и взяла его за руку.

Они пошли лесом. Порой деревья разъединяли их, но всякий раз она снова брала его за руку, словно боясь, что он потеряется. Шаги были не слышны, их глушила влажная прель мертвых листьев, игл и трав.

— В каком классе твой сын? — ни с того ни с сего спросил Климов и удивился неуместности своего вопроса.

— В пятом,— сказала Маруся.

Они шли и шли, куда-то сворачивали, пересекали просеки, и трудно было поверить, что есть какой-то толк в этом кружении по лесу. Но толк был — вскоре они оказались на круглой поляне, посреди которой чернел стог.

— Пойдем в сено,— сказала Маруся,— там тепло.

Они надергали сухого сена и сели, прижавшись спинами к нагретому солнцем стожиному боку.

— Ну, здравствуй еще раз,— Маруся сильно обняла его и стала целовать.

Климов не ждал этого, он сидел неудобно, она зажала ему руку, а другой он упирался в землю, чтобы сено меньше кололо шею и затылок.

— Да погоди...

Она поняла, что ему нужно, и стала помогать устроиться поудобнее: освободила его руку, подтянула к себе, как-то подалась телом под него. Затем расстегнула кофточку на груди, стянула косынку, дав волю волосам. Она делала все это легко и деловито, словно они были мужем и женой, встретившимися после долгой разлуки, и Климову было и радостно и жутко, он чувствовал, что она готова уничтожить все преграды. Но ведь он не этого хотел, не только этого. Он был в смятении, понимая бестактность всяких слов и невозможность для себя молчать. А она каждое его случайное прикосновение обращала в прибыль близости... Он с усилием оторвался от нее.

— Ты будешь моей женой?

— Ох, помолчи! — она поморщилась, словно от боли.

— Я прошу тебя стать моей женой. Мы уедем вместе.

— Да помолчи! Что ты все рушишь?!

— Слушай,— сказал он с тоской,— я люблю тебя, я тебя все годы любил, я не жил их, уж если правду говорить. Я не вором приехал к тебе через двадцать лет. Ну что мне это свидание, когда я тебя на всю жизнь хочу? А так стыдно даже, еще до мужа твоего дойдет.

— А он знает,— прозвучало с жуткой простотой.

— Что знает?!

— Я сказала, что нам поговорить надо.

— К чему все это? — почти с отчаянием спросил Климов.

— Зачем мне из него дурака делать? — спросила она обиженно.— Сколько лет прожили, мне ли его унижать?

— Постой... А разве это не унижение?..

— Нет, пускай он сам решает, как ему дальше жить,— принять меня назад или бросить.

— Не понимаю...

— Да чего тут непонятного?.. Он же знал, что я за него без души пошла, знал, что тебя любила... Он, если хочешь, все время ждал, что или ты объявишься, или я сама искать тебя пойду. Ему вроде облегчения, что ты наконец пришел.

— Да в чем же тут облегчение?

— А в том: налетело, закружило, да и отлетело! — сказала она со вздохом.

— Ты не уедешь со мной?

Она несколько раз повела головой из стороны в сторону.

— Но почему? — томился Климов.

— Неужто сам не понимаешь? Здесь — мое все, а там что?.. Я уже старая. Раньше надо было.

— Что за... — начал Климов, но она властно зажала ему рот рукой и повлекла к себе.

Но он не мог быть с ней, она сама виновата, лучше бы не говорила, что Федор знает об их встрече. Как он посмотрит ему в глаза, если между ними будет близость? Зачем она сказала?.. А ведь подобное уже было... было у них однажды. Тогда она сказала, что он не первая ее любовь. И тоже все испортила, отторгнула от себя... Зачем она это делает?! Она живет по каким-то другим законам, чем он. Ей кажется, что она делает сейчас справедливое и важное дело, может, она и права, но у него нет сил следовать за ней...

Она почувствовала его холодность и отстранилась. Подобрала волосы и стала повязывать косынку.

А когда они поднялись, она сказала без укора, обиды или гнева, но с глубокой-глубокой печалью:

— Ах, Леша, Леша, снова ты от меня отказался.

— Нет, это ты... — пробормотал Климов.

— Дурак ты, Леша. Или головной очень? — она искренне пыталась понять его изъян. — Сделанный ты какой-то...

— погоди! — вскричал Климов. — Это нечестно. Теперь ты притворяешься, что если б у нас все было, то...

— Замолчи! — впервые голос ее стал сердитым. — Ну разве я знаю, что было бы? И как же так происходит, что я, баба, на все готова, а ты, мужик, задаток требуешь? Не ушла бы я с тобой, не ушла, можешь не казниться... А бог меня знает! — со страшной болью сказала она. — Вдруг бы и ушла...

«Я — дерьмо!» — твердо и печально сказал себе Климов.

На станцию его провожал Федор. Климов не понимал, зачем ему нужен провожатый, но Федор сам схватил его легкий чемодан с болгарскими наклейками и первым выскочил из дома. Все, что предшествовало этому, сотворилось быстро и словно бы в тумане. Они вместе вернулись из леса, лишь у самой деревни Маруся немного опередила его, как бы отдавая дань приличию, а не маскировки ради. И Федор и Вовка были дома. Федор сидел в кухне на лавке, на своем прежнем, военных лет, месте, спиной к свету,

и был точь-в-точь тот самый терпеливый старший лейтенант. Мальчонка сидел на другой лавке, под углом к первой, в ватничке и сапожках, и был разительно похож на отца, Марусиного ничего в нем не проглядывало. «А он не пошел бы с нами!» — мелькнуло у Климова.

— Вот, погуляли...— сказал он с насильственной улыбкой.

Никто не отозвался.

Он рассчитывал, что Маруся снимет неловкость, но она не обмолвилась словом. Федор сумрачно глядел в какую-то свою даль, а мальчонка в перекрест отцова взгляда.

— Я поехал,— сказал Климов прямо и грубо, он уже проиграл свою игру, а эти двое, похоже, ждали от него каких-то ходов.— Как раз успею.

И вот тут Федор сразу поднялся, нахлобучил кепку, подхватил его чемоданчик и вышел, чтобы не мешать прощанию. И мальчонка поднялся, только не спэша, зачерпнул ковшом воды из кадки, полил себе на подбородок и тоже вышел из дому. Но прощания не получилось. Маруся стояла в дверном вырезе между кухней и чистой комнатой, заполняя целиком эту необширную амбразуру, и шагу не сделала ему навстречу.

— Вот когда мы всегда прощаемся,— сказал Климов, страдая и все же не находя живых слов.— Теперь все...

— Кто его знает! — вздохнула она равнодушно.

— Ну, до свидания! А вернее — прощай! Жалко, что так получилось.

Она не ответила, только наклонила голову. Большая, красивая, с медным лицом и светлыми волосами женщина, на какие-то мгновения слившаяся с девочкой Марусей, стала от него дальше, чем все эти годы, когда он не знал даже, жива ли она. Он понял, что и в самом деле это конец, никакие слова не нужны, ему не прикрыть отступления, не сделать его ценным и значительным. Жемчужное снова не получилось. Но, быть может, «из тяжести недоброй и я когда-нибудь прекрасное создам»?.. Вот и утешайся, а сейчас катись вон!..

И он выкатился, держа в горле комок слез, и мимо Федора устремился на улицу. Следовало попрощаться с мальчонкой, передать поклоны старым «девчатам». А кому это нужно?.. Все надо начинать сначала. Но хоть что-то было? Что-то подлинное? Он опять ничего не дал Марусе, даже короткого забвения, а она дала ему слезы, забившие горло. Это немало. Нерасторжимы слезы и жизнь. Он ушел от нее тогда «хорошим лейтенантом», что, если.. Опять ищешь выгоды?..

А за околицей была звонкая, кованая осень, в перепаде дня

крепко похолодало, все лужи пошли стрелами, синицы и воробьи наохлились, храня тепло маленьких сердец, закожанела сохранившаяся о край дороги трава. У Федора каблуки были подкованы железом, они звонко цокали о землю, в которой вся влага стала ледком. Климов остановился.

— Не надо меня провожать.— И протянул руку за чемоданчиком.

— Идите, идите,— сказал Федор, напирая на него плечом. Климов усмехнулся и пошел вперед.

«Прощай, чудесный край, невозвратимый»...— вспомнилась пластинка Печковского. Комок рвался прочь из горла, но за спиной звучало упрямое, жесткое цоканье, и он не мог позволить себе единственной разрядки. Да чего он топает за мной, словно конвойный за арестантом?.. Его охватило бешенство. Федька и прежде был упрямой скотиной, привык брать на измор. Он повернулся к Федору.

— Может, ты все-таки домой пойдешь? Ей-богу, это лишнее.

— Лишнее?..— хрипло переспросил Федор и стал громко, грубо отхаркиваться. Прочистив горло, добавил:— Такого дорогого гостя проводить совсем не лишнее.

Да он издевается, что ли? — вспыхнуло испуганно. Не то чтобы Климов физически боялся Федора, но не хотелось ему добавочного груза чужой душевной жизни, ему хватало и собственной мути.

— Может, ты все-таки домой вернешься? — сказал он спокойно и холодно.

— Давай, давай, так вернее...— проговорил Федор, по-прежнему нажимая плечом.

Лишь мгновенно вспыхнувшая догадка, что Федор не даст сдачи, помешала Климову нанести удар. Он разжал кулак. Федор был сейчас, пожалуй, потяжелее да и покрепче его, но именно поэтому и не ввяжется в драку. Маруся не простит ему, если он хоть пальцем тронет Климова. Да и за что бить Федьку? За то, что он охраняет свое счастье? Он хочет убедиться, что Климов действительно уедет в Москву, а не повернет назад или не отправится в Неболчи, чтобы продолжить оттуда свои домогательства. Климову стало по-человечески жалко этого серьезного, терпеливого тихого человека, который всем жизненным напастям противопоставляет лишь непоколебимую верность. Не такое уж это могучее оружие в нынешнем хитром, изощренном, исполненном всяческих соблазнов мире. Ему хотелось по-доброму расстаться с непрошеным провожатым, в конце концов он вел себя честно, и это дает ему право если не на дружбу, то хоть на уважение Федора.

— Ты зря со мной так, Федя,— сказал он искренне.— Я перед тобой ни в чем не виноват. Дай руку!

— Идите, идите, не то опоздаете!

— Ты что — не хочешь руки протянуть?

— Шагайте, шагайте, времени в обрез.

— За что?.. Ведь у нас ничего не было.

Лицо Федора стало как кулак.

— Чего было, чего не было, не вам судить.

— Вот те на!..

— Вот и на! — злобно передразнил Федор.

— Ну, дай руку! — Климов сам почувствовал, как жалко это сказалось.

Теперь остановился Федор.

— Как я тебе руку дам,— впервые он обращался к Климову на «ты», но не из приятельства, а в какой-то жутковатой доверительности,— когда, может, той же рукой из тебя жизнь выну?

— За что?.. Что я тебе сделал?

— Что сделал, то прошло. Но если вернешься — не жди пощады.

— Не бойся, не вернусь.

— Хорошо бы...

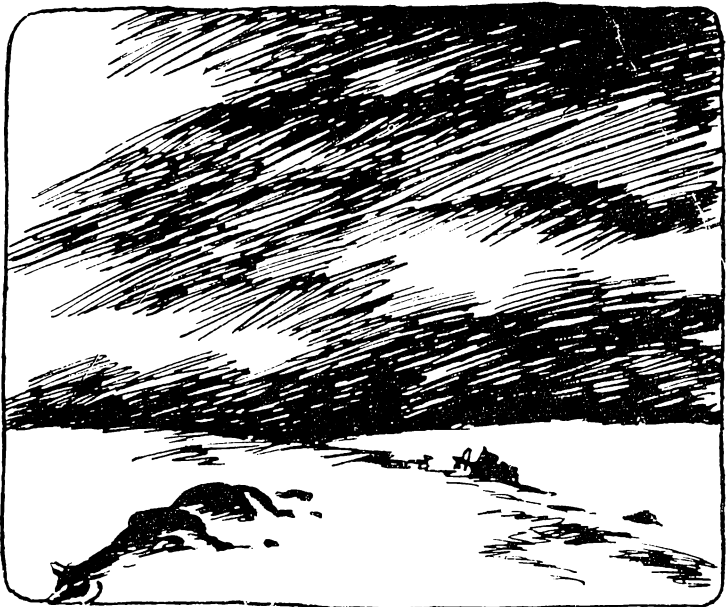
Главное было сказано, и Федор отбросил его за пределы своей душевной жизни.

Он проводил Климова до самого полустанка. Дождался поезда и, лишь когда Климов стал на ступеньку вагона, вручил ему чемоданчик. Тут Климов сделал последнюю попытку к рукопожатию, Федор не поддался, и Климов прошел в тамбур. Поезд тронулся, но Федор не ушел с платформы. Климов заметил, как напряглось его лицо, когда поезд поравнялся со стрелкой, здесь была последняя возможность спрыгнуть на ходу, дальше поезд резко набирал скорость. Климов наблюдал все это, и Федор вовсе не казался ему смешным, скорее — величественным. Поезд рванулся вперед, Федор снял кепчонку и носовым платком вытер бледный, незагорелый лоб с острыми клиньями белизны на лысоватом темени и пошел через полотно домой.

Промелькнула заросшая просека, приютившая некогда поезд-типографию. Слева, в глубине простора, возник лесок, где сороки и вороны хотели посчитаться с разбойницей лисой. Климов все не шел в вагон. Он стоял, прижавшись щекой к пыльному стеклу. Ему хотелось завывать дурным голосом, как воют солдатки, провожающие мужей на фронт, когда задвигаются двери теплушек.

ДЕЛО КАПИТАНА
СОЛОВЬЕВА

Рассказ военного
юриста





Я направлялся в штрафную роту, расположенную в районе Киришей, у меня скопилось много дел по реабилитации отличившихся в бою штрафников. Иные из них погибли, другие находились в госпиталях, а легкораненые использовались на нестроевой службе. До Киришей я доехал на машине, дальше предстоял санный путь. Комендант выделил мне розвальни, запряженные гнедым меринком с длинными заиндевелыми ресницами, и высоченного мрачного ездового в громадном вонючем дубленом тулупе. Где ему удалось разжиться таким роскошным тулупом, ума не приложу, уж он-то был надежно защищен от мороза и вьюги, веющей без устали с приходом зимы. Мой ко-

ротенький, до колен, романовский полушубок являл собой жалкое зрелище рядом с его дохой. Розвальни, правда, были набиты темным худым сеном, я навалил это сено себе на ноги, подгреб под бока — в общем, устроился. Еще я рассчитывал на защитную ширину спины моего ездового. И когда тот, оступившись на раненую, плохо зажившую ногу, рухнул в розвальни, я подполз к нему и притулился за его спиной.

Фронтальные возницы, как правило, общительны, разговорчивы. В дороге скучно, пустынно, отчего же не перекинуться словом с попутным человеком? К тому же ездовые — народ нестройной, в годах, с опытом жизни за плечами, со своими, выношенными соображениями на каждый случай, им есть о чем поговорить, чему поучить молодых недомыслов. Но мой ездовой оказался редкой молчуньей породы. Он молча выслушал приказ коменданта доставить меня в штрафную роту, даже положенного «Есть!» не обронил; молча залез в розвальни, подобрал вожжи, мы тронулись, а я так и не слышал его голоса. Поднятый воротник и нахлобученная по самые брови ушанка скрывали его лицо, но по глазам и тугой коже скул чувствовалось, что человек он еще молодой и оказался на стариковской должности, видать, временно, по ранению. В твердом, прямом, колющем взгляде его светло-карих блестящих глаз было что-то дерзкое, вызывающее. Люди с таким взглядом почти всегда не ладят с начальством, а товарищами любимы с оттенком заискивания. Не будет ничего удивительного, подумал я, если окажется, что ездовой принадлежит к числу моих бывших клиентов. Я пытался вспомнить дела, связанные с неподчинением приказу, оскорблением командиров, проходившие через трибунал. В памяти всплывали разные лица, но моего ездового среди них не было. А впрочем, все это глупости, решил я, нигде не сказано, что человек с твердым, смелым, даже задиристым взглядом должен непременно вступать в открытый конфликт с окружающими.

Дорога шла заснеженным, выжженным полем, и я порядком околел, хотя спина ездового создавала мощное укрытие. Розвальни упрямо и безнадежно переваливались с угора на угор, а вокруг ничего не менялось: та же снежная, клубящаяся муть, сугробы обочь дороги, желтые пятна лошадиной мочи, куча мерзлого навоза, клочья сена и соломы, серое небо с крошечным высветцем там, где за тучами скрывалось солнце.

Я несколько раз спрашивал возницу: скоро ли приедем, но он то ли не слышал меня за вьюгой и огромным меховым воротником, то ли в своей угрюмой, странной необщительности делал вид, что не слышит.

Небольшое разнообразие вносили вырастающие порой с края

дороги побитые, размундиренные грузовики да застывшие трупы лошадей с мерзлым калом у задних ног.

— Бомбят дорогу-то? — крикнул я в каменную спину ездового, но ответа не дождался.

Мне стало неуютно и тоскливо от его тягостного молчания, глухого безлюдья и прочно засевшего в костях холода. Чтобы окончательно не раскиснуть, я пытался думать о чем-то хорошем, добром. К несчастью, ни положение на фронте, по-дурному затихшем, ни обстоятельства моей личной жизни — мне перестала писать женщина, которую я любил или готов был полюбить, — не давали такого вот теплого мысленного укрытия. И захотелось мне расшевелить сидящего рядом со мной угрюмого человека, вызвать на добрый, товарищеский разговор. Может, у него что неладно в жизни, и если я не смогу помочь, то хоть выговориться дам, а это ведь тоже облегчение.

— Долго еще ехать? — крикнул я.

Ездовой не отозвался.

Тогда я ткнул его легонько кулаком в бок и еще громче крикнул:

— Эй, дядя, проснись! Долго нам мучаться?

— Недолго, — прозвучал холодный, острый голос.

Голос удивил меня своей интеллигентностью и необычайным серебристым тембром. Несомненно, я уже слышал этот резкий, чистый, звенящий голос.

— Голубчик, — обратился я к вознице. — Обернитесь, мне хочется увидеть ваше лицо. По-моему, мы с вами где-то встречались.

— Конечно, встречались, — голос стал как лезвие бритвы. — Я — Соловьев.

По роду моей работы мне куда чаще приходилось сталкиваться с людской ненавистью, нежели с любовью; не раз слышал я в свой адрес проклятия и угрозы, не раз читал в глазах людей такое, что пострашнее всяких словесных угроз, но не забыть мне светлого, наркотически блестящего взгляда капитана Соловьева, когда я зачитал ему приговор военного трибунала: десять лет лишения свободы за убийство на почве ревности. Столько ненависти, ярости и презрения было в этом взгляде, что я потом долго ощущал странный холодок в лопатках, словно кто-то целился мне в спину. Конечно, отсидку ему заменили штрафной ротой, дальнейшая история бывшего капитана читалась в его плохо гнущейся ноге.

Взгляд Соловьева тревожил меня своей загадочностью. Казалось бы, что загадочного в ненависти осужденного к судье, коль мера наказания столь велика? Но ни один убийца, даже приговоренный к расстрелу, не смотрел на меня так. Соловьеву было известно,

что ревность является не смягчающим, а отягчающим обстоятельством, он сразу, полностью и безоговорочно, признал свою вину. В человеке от природы заложено сознание справедливости расплаты за убийство. За что же ненавидел и презирал меня Соловьев? Можно было подумать, что произошла роковая судебная ошибка, и он никогда не убивал Тоню Калашникову, которую прошлой зимой спас от гибели на ледовой Ладожской дороге. Но никакой судебной ошибки не произошло: на глазах нескольких свидетелей Соловьев разрядил в Тоню свой парабеллум. С шестью пулевыми ранениями Тоня не умерла сразу, она успела простить Соловьева, сказать ему о своей любви и поцеловать. Ее отнесли в госпиталь, а Соловьеву связали руки ремнем, потому что, придя в себя, он выхватил из-за голенища запасную обойму и попытался застрелиться. Но на суде он держался спокойно и даже высокомерно, в нем не чувствовалось ни сострадания к погибшей, ни раскаяния, ни желания хоть как-то обелить себя, лишь странная, презрительная сдержанность. От последнего слова он отказался. Секретарь суда сказал мне потом с дурацким смешком: ваше счастье, если Соловьев не вернется из штрафбата.

Я не трусливее других, но, признаться, мне стало не по себе. Человек, который, не задумываясь, из смутного подозрения в неверности убивает любимую девушку, едва ли станет церемониться с тем, кто чуть не отправил его на тот свет. Да и обстановка располагала к решительным действиям. Мы как раз въехали в лесную просеку, стемнело, вокруг ни души, а защититься мне нечем. Опытный взгляд Соловьева наверняка определил, что воинственная кобура на моем ремне хранит носовой платок и плитку шоколада. Он куда выше ростом, крупнее, да что много говорить: я во всей амуниции и шестидесяти килограммов не тяну. Ну, убьет он меня, думал я дальше, — а как замести следы? Ведь не скажешь, что седок незаметно выпал из розвальней. Меня начнут искать и непременно рано или поздно отыщут. Понимает ли Соловьев, что штрафной ротой ему уже не отделаться? Расстрел — и точка! Но он, конечно, надеется, что расстрел ему заменят штрафняком, и у него вновь появятся шансы уцелеть. Мы никого еще не расстреляли — вот в чем беда! Незнание Соловьевым законов может оказаться губительным для меня. Но как его просветить?.. Впрочем, у Соловьева есть возможность инсценировать мою гибель от руки немецких разведчиков, нередко просачивающихся в наши ближние тылы. Такие случаи бывали, не далее как на прошлой неделе они подстрелили нашего связного-мотоциклиста. Незаметно для самого себя я увлекся и стал придумывать замысловатый сюжет, согласно которому я благополучно отправлялся на тот свет,

а Соловьев выходил сухим из воды. Я предусмотрел мельчайшие детали, и как человек с высшим юридическим образованием могу заверить, что никакой отечественный Шерлок Холмс не доискался бы до истины. Мои товарищи-юристы недаром шутят, что во мне погиб писатель,—обуянный авторским тщеславием, я готов был подарить Соловьеву великолепно разработанное преступление.

Над самой головой послышался свистяще-пиликающий, булькающий звук и вдруг обернулся яркой вспышкой и негромким сухим взрывом в чаще по левую руку. Затрещали сучья. Розовый ответ лизнул дорогу.

— Что это? — воскликнул я.

— Мина,— пробурчал возница.

— Тут и минами обстреливают?

— И минами.— Мне послышалась насмешка в его голосе.

«В этом случае задача Соловьева еще упрощается,— подумал я.— Нет ничего проще...» — И вдруг игра как-то разом иссякла. Да разве нуждается такой человек, как Соловьев, в хитроумных расчетах, уловках и предосторожностях? Он действует под влиянием минуты, внутреннего толчка, не задумываясь о последствиях. Ведь он не дал Тоне и слова сказать в свое оправдание, да и сам не обмолвился упреком, когда застал ее у стога сена с сержантом... забыл фамилию. Они не обнимались, не целовались, просто стояли рядом и разговаривали, а неподалеку от них шофер менял колесо, госпитальные сестры собирали клюкву на болоте. Соловьев подозревал, что у Тони с сержантом что-то есть, их общение под стогом сена мгновенно придало его беспредметной ревности невыносимую убедительность образа. Если б сержант не убежал, едва завидев Соловьева, тот и его прикончил бы. Когда Соловьеву скрутили ремнем руки, он сразу утих и странным, напряженно-спокойным голосом попросил, чтоб его развязали. Он был безоружен, к тому же поклялся честью, что не сделает ничего плохого. Ему поверили. Он побежал в госпиталь. Тоня была уже на операционном столе. Вышел хирург, посмотрел на Соловьева и сказал: «Экзетус». Тот сразу пошел в военную прокуратуру, спросил следователя и почти дословно повторил последнюю фразу Хозе в опере «Кармен»: «Я убийца. Арестуйте меня». Следователь рассмеялся: «Глотнул лишнего?» Соловьев сел на лавку и расплакался. Этим он словно исчерпал запас добрых чувств. Уже к вечеру он обрел то высокомерное, презрительное спокойствие, которое хранил до конца дела.

Соловьев и вообще был словно лишен инстинкта самосохранения. До своего несчастья он командовал ротой обслуживания аэродрома. Не проходило дня, чтобы аэродром не подвергался жесто-

кой бомбежке. Все прятались по укрытиям, щелям, а Соловьев оставался снаружи. Сдвинув ушанку на затылок, он стоял среди разрывов и крыл немцев в бога-душу-мать. Казалось, он заговоренный — его охлестывало глиной и снегом, не раз осколки рвали на нем шинель, но сам он не получил и царапины. Слухи о его фанфаронстве дошли до командования ВВС фронта. Соловьев следующим образом объяснил свое поведение: он делает это ради бойцов, чтобы приучить их не бояться «сопливых Гансов», так называли у нас немецких летчиков. Из-за вечной нехватки штыков на передовой у него в роте служили нестроевики да идущие на поправку раненые — словом, воины не высшего класса. Аэродром не только бомбили, но и обстреливали дальнобойными, и тут он не позволял своим людям прятаться в укрытие, иначе они не могли бы содержать аэродром в боевой готовности. Наверное, его доводы убедили командование, ибо повадки своей Соловьев не оставил. И он так старательно воспитывал бойцов, что даже нестроевики рвались на фронт, предпочитая передний край «тихой» аэродромной службе.

По рассказам очевидцев, так же бесстрашно вел он себя и на Ладого, куда его направили зимой прошлого года помогать эвакуации. Немцы бомбили и обстреливали из пулеметов ледовую дорогу, обозы и колонны грузовиков с продовольствием, санитарные машины, походные госпитали и кухни, беззащитных, полумертвых от голода людей, которых вывозили из блокадного Ленинграда. Соловьев с его энергией и храбростью пришелся там ко двору. Назад он вернулся с орденом Красной Звезды и Тоней Калашниковой, девятнадцатилетней ленинградской-телефонисткой, находившейся в крайней степени дистрофии. Он подобрал ее в старой бомбовой воронке — контуженную, раненую в плечо, почти голую — ее вышибло взрывной волной из одежды — и обмороженную. Знал ли он тогда, что это окажется его судьбой? На руках у него было почти невесомое девичье тело, он видел маленькие, иссохшие груди, похожие на пустые, смятые кулечки, нежную просвечивающую кожу, тонкое, худое лицо с закрытыми провалившимися глазами и бескровно нежным ртом, и что-то перевернулось у него внутри. Он, знавший лишь легкие, необременительные связи, полюбил сразу, с какой-то смертной жалостью и восторгом, мужской и отцовской любовью, хотя самому ему не было тридцати.

Он устроил Тоню в госпиталь, наладил на ее спасение все наши лучшие медицинские силы, ее даже сам главный терапевт фронта смотрел. Соловьев не боялся людей так же, как фрицевых фугасок и пуль, и субординации вопреки, в незвонком капитанском чине умудрялся подчинять своей воле куда более старших по зва-

нию. Находясь в госпитале, Тоня к положенной диете получала свежие овощи и фрукты, а раздобыть их можно было лишь в генеральской столовой. Когда же диета сменилась усиленным питанием, Соловьев стал таскать в госпиталь не только весь свой командирский доппаек, но и бруски сливочного масла, домашнюю колбасу, шпиг, приобретая все это втридорога или выменивая на табак, водку и личные вещи в прифронтовых деревнях. Мы, волховчане, довольно нагляделись на дистрофиков: до госпиталя — кожа и кости, после госпиталя — нездоровая одутловатость в сочетании с вялостью и равнодушием. Ничего подобного не было с Тоней. Из госпиталя вышла живая, веселая, цветущая девушка, с круглым чистым лицом, стройная и плотная — никакой припухлости, отечности, — поверить трудно, что она перенесла блокаду. Соловьев определил ее учетчицей на лесозаготовках недалеко от аэродрома и поселка, где располагался армейский второй эшелон. Тоня часто приходила в поселок смотреть кино и танцевать в клубе.

Вскоре в каком-то заштатном сибирском городке отыскалась ее мать, которую она потеряла во время бомбежки на ледовой дороге. Мать бедствовала, но вызвать ее к себе, в прифронтовую полосу, Тоня, конечно, не могла, а ехать к ней — вдвоем бедовать — толку мало. Соловьев и здесь выручил — послал Тониной матери денежный аттестат на свою зарплату. Его родители, военврачи, сами находились на фронте и в помощи сына не нуждались.

Любовь капитана ни для кого не была тайной, но все знали также, что между ним и Тоней нет близости. Конечно, Тоня по своему любила его, да и как можно было не любить человека, проявившего столько доброты и благородства, но, верно, не такая любовь была ему нужна. А Соловьев не из тех, кто выпрашивает любовь на бедность. Он терпеливо ждал, когда ее сердце пробудится для иного чувства. И тут его надолго откомандировали на Ленинградский фронт. Вскоре в нашем поселке появился выздоравливающий после ранения сержант. В ожидании отправки на фронт сержант дневал в Поарме, а остальное время торчал в клубе, там они и познакомились. И пробудилось Тонино сердце, только не для Соловьева. Я не был лично знаком с Соловьевым, и все же, помню, меня передернуло, когда я услышал, что Тоня «крутит с сержантом». Очень уж красив и привлекателен был капитан Соловьев в своей рыцарской преданности спасенной им девушке. Тоню мне однажды показали, она была миленькая, но вполне заурядная, и, глядя на ее круглое, юное, безмятежное лицо, трудно было постичь силу притяжения, намертво приковавшую к ней такого сложного и значительного человека, как Соло-

вьев. А вот сержант мне как-то не попадался, впрочем, может, я его и видел, только не знал, что это он.

Тонина склонность к сержанту ни у кого не вызвала сочувствия, ее открыто осуждали и товарки по лесозаготовкам, и девушки в нашем поселке, не говоря уже о военной братии. Не знаю, дошла ли грустная весть до Соловьева, но, вернувшись из долгой отлучки, он ни в чем не изменил своего отношения к Тоне. Рассказывали, правда, что однажды он появился в клубе во время танцев, долго смотрел из дверей на самозабвенно кружащуюся в объятиях сержанта Тоню и молча вышел. Говорил ли он с Тоней, пытался ли узнать правду — неизвестно. Вполне возможно, что самолюбие не позволило ему признаться в ревности к какому-то сержанту. Да и все предшествовавшее роковой встрече оставалось скрытым от окружающих. Тоня продолжала встречаться со своим сержантом и не только в клубе, а Соловьев ничем не обнаруживал, что творится у него на душе. А потом было пустое клеверичье, стог сена и осенняя гулкость выстрелов — Соловьев расстрелял свою любовь...

В тот поздний вечер на лесной дороге, охваченный неуютом внезапного открытия, я припоминал как бы пятнами несчастную историю Соловьева, но не находил в ней ничего ободряющего для себя: мой спутник был человеком внезапных наитий.

Что-то изменилось вокруг: вьюга улеглась, и в открывшемся темном чистом небе стала полная блестящая луна. Псрой она исчезала за верхушками рослых елей, и лес погружался в непроглядную темь, затем вновь озарялся блистающим светом. По снежным навалам вдоль дороги скользила большая четкая тень лошади, саней и возницы. Я лежал в соломе, и моей тени не было видно, словно Соловьев уже выбросил меня из розвальней.

И тут я решил, что самое лучшее — это разговаривать моего опасного соседа. Куда труднее посягнуть на человека, если ты вступил с ним хотя бы в словесный контакт.

— Вы были в бою? — обратился я к темной глыбе.

— Какие сейчас бои? — донеслось как из погребов.

— Но вы же ранены?

— За языком ходил.

— Удачно?

— Фельдфебеля взяли.

— Как вас ранило?

— Фриц заорал. Открыли огонь. Меня срезало, — он чуть ожил от воспоминаний. — Мой напарник сразу фрица в охапку и драла... Ну, наши дали отсечный огонь... Вытащили меня.

— Почему не ходатайствовали о снятии наказания?

— Рано...

— Ничего не рано! С вас и судимость снимут.

— Да... как же так? — произнес он растерянно и впервые повернулся ко мне.

Ему было жарко, он досадливым движением откинул высокий, душный воротник. На меня глядело исхудалое, цыганистое, темное от солнца и ветра, совсем юношеское лицо. И уже не чувствуя ничего, кроме сочувствия и живой симпатии к этому настрадавшемуся человеку, я с удовольствием сообщил ему, что еду в штрафроту как раз для разбора таких вот дел.

— А в звании восстановят? — тихо спросил Соловьев.

Как это характерно для него! Другому — лишь бы из штрафняка вырваться, а Соловьеву главное — шпалу вернуть. Потеря звания ощущалась им куда болезненнее, нежели участь штрафника. Ему, кадровому офицеру, оказаться в положении рядового, выслушивать «ты», перемаргивать окрики и брань, выполнять унижительные для его самолюбия приказания, вроде хотя бы нынешнего, а то и похуже — было нестерпимо. Если б его отправили командиром не то что в штрафроту, а в роту смертников, он бы и бровью не повел, но трибунал унизил его, и этого он не мог простить.

Соловьев задал мне трудный вопрос. Трибунал может лишать звания, но ему не дано восстанавливать в звании. И все же я решил пойти на сознательную ошибку и вернуть Соловьеву шпалу. Я не сомневался, что дело выгорит: не разжалуют же вторично человека, искипившего свою вину подвыгом и кровью. Забегая вперед, скажу: Москва проявила гуманность и административное изящество — из обвинительного заключения был задним числом изъят пункт о разжаловании, а мне за превышение власти объявлен выговор без занесения в личное дело.

— Да, — сказал я, — вас восстановят в звании.

Светлые глаза Соловьева взблеснули, он резко отвернулся. А потом привстал, гикнул и принялся нахлестывать меринка. Тот надал, розвальни заскрипели в вязках и с раскатцем понеслись вперед. Теперь луна так часто скрывалась за островершками и вспыхивала вновь, что пульсирующий свет ее создавал впечатление, будто нас обстреливают холостыми из бесшумного пулемета.

За опушкой мы опять разговорились. Соловьев успел пережить в себе свою радость, он успокоился, стал прост, мягок и доверчив.

— Вот вы, товарищ майор, побольше моего на свете прожили. А можете вы сказать, что такое женщина?

Я заметил, что он впервые за поездку назвал меня майором. Он вновь чувствовал себя на равных и охотно отдавал мне должное, а в солдатском положении ни разу не обратился по форме.

— Вопрос слишком широк...— заметил я.

— Зачем ей было так страшно врать?.. «Я перед тобой чиста, я даже в мыслях не изменяла». А врач вышел из операционной: «Вы погубили не только мать, но и дитя. Она беременна на третьем месяце». Ну к чему было это подлое вранье?..

Вон как! Оказывается, Соловьев все знал... В деле акт о вскрытии не фигурировал. И так хватало с избытком, чтобы Соловьев получил полной мерой, к чему было лишнюю муть разводить, тем более сержант упорно отрицал свою связь с Тоней, и, знай, талдычил: «Чего она сказала, то и было, а добавь мне нечего».

Соловьев не понимал, что по закону ее беременность лишь усугубляла его вину. В неопровержимой Тониной измене, в ее «коварстве» он видел человеческое оправдание себе. И он считал, что люди, присвоившие право судить его, должны были понять, какой ад творится в нем, обманутом, оскорбленном, втопанном в грязь ничтожной, распутной девчонкой, возведенной им в королевы. Когда он заплакал у следователя, он плакал не над Тоней — над собой. А суд подошел к нему плоско, грубо, по-казенному, и осудил как простого убийцу, мелко и безжалостно добил человека, покаранного куда более страшной карой: знать, что любимая носила под сердцем чужого ребенка. Теперь я начинал понимать, откуда взялась презрительная ненависть Соловьева ко мне.

Разумеется, ни о чем таком я не стал ему говорить, а отделался какими-то банальностями: мол, женская душа непостижима.

— Вот уж точно «непостижима»! — горько усмехнулся Соловьев.— Променять меня на какого-то гусака!..— И он замолчал на весь остаток дороги, видно, пережитое снова нахлынуло на его очнувшуюся душу...

Я быстро покончил со всеми делами в штрафной роте и собрался в обратный путь. Командир роты, маленький, курносый, веснушчатый лейтенант, устроил отвальную в честь реабилитированных. Хватив стаканчик-другой мутного сырца, он стал жаловаться: «Что у меня за служба такая? Посылаю в бой солдата, а возвращается офицер. Вон Соловьев — обратно капитан, а я как был лейтенант, так, видать, лейтенантом и умру». Застолье не смеялось, веснушчатого лейтенанта недаром называли за глаза Железный Вася.

— Ну как, товарищ капитан,— обратился я к Соловьеву,— доставите меня назад, или вам теперь не по чину?

— Вас, товарищ майор, хоть на край света! — галантно ответил Соловьев.

Он пил, не хмелея, так велико было его скрытое возбуждение; по смуглому лицу прокатывалась волнами матовая бледность, резко

прорезанные ноздри трепетали, в нем творилась сильная, радостная, нетерпеливая жизнь.

Тепло распрощавшись с Железным Васей и другими недавними соратниками Соловьева, мы пустились в обратный путь.

— А знаете,— сказал Соловьев, когда мы выехали на знакомую накатанную дорогу и сани бесшумно заскользили по прямым и гладким колеям,— я ведь впервые надену офицерские погоны.

Да, переход на погоны совершился, когда Соловьев уже загремел в штрафную роту, даже самое слово «офицер», бытовавшее полулегально в военной беллетристике и торжественных речах скорее как образ, нежели реальное понятие, лишь недавно обрело право официальности. Потому и произнес Соловьев с таким вкусом: «о ф и ц е р с к и е погоны».

Еще через некоторое время он сказал:

— На аэродром я не вернусь. Хватит! В пехоту пойду. Довольно мне фрицев перемогать, пора самому лупить их в хвост и в гриву.

Все это было хорошо и естественно, а подпортило мне настроение его пение. Непривычный к вину, я задремал и когда очнулся от короткого, неудобного сна, мы мчались лесной просеккой, оттаивая ели, и Соловьев распевал:

Цветок душистых прерий,
Ты мне милей свирели...

Голос у него был приятный, да и слух неплохой, но хоть бы он что другое пел: русскую песню, или старинный романс, или хоть Штрауса, коль его на оперетту потянуло. Но «Роз-Мари» всегда казалась мне образцом пошлости, а ее центральная, вдрызг запетая ария — до тошноты безвкусной, фатовской и глупой. Было в этой арии какое-то противное самодовольство, ее не запоешь в грусти и доброй задумчивости. Очевидно, она соответствовала внутреннему состоянию Соловьева. Впервые он стал мне неприятен. Черт подери, вот он сидит, молодой, красивый, полный надежд и героических мыслей о будущем, а бедная Тоня гниет в болотистой земле приволховья, недожив, недолюбив, не наградив светом мира зревшее в ней человеческое существо. А кто, собственно, предоставил Соловьеву полномочия господа бога дарить и отнимать жизнь? Он спас Тоню и державно присвоил себе право на нее, на ее жизнь и смерть. Но ведь это нелепость, чушь, бред!..

Твои глаза, как небо голубое,
Волнуют кровь отважного ковбоя! —

ликовал Соловьев.

«Вот уж верно — ковбой! — злобствовал я про себя, нарочно забывая, что ковбой вовсе не шальный рыцарь прерий, как полагают все мальчишки, а коровий пастух.— Спас — полюбил, не вышло — убил! И все это с какой-то зловещей простотой»...

Но, расставаясь с Соловьевым в Киришах, я вновь ощутил к нему прилив симпатии. Все-таки он мой крестник, этот смелый, бурный, способный к большим и ярким делам человек! Да, он совершил тяжкое преступление и понес заслуженную кару, но он искупил свою вину, так чего ж мне, юристу, преследовать его в своей душе? Он рвется на передний край не только из молодечества, совесть толкает его туда, где горячее, опаснее; сознательно или бессознательно он будет и впредь искупать вину перед жизнью, на чей святой закон посягнул.

А Соловьев был искренне взволнован и растроган. «Кто знает, свидимся ли еще, товарищ майор, а только для вас... за вас...» — он не мог договорить, махнул рукой и отвернулся...

И вот я наконец дома. С некоторых пор мое суровое холостяцкое жилье — я занимал пристройку в полуразрушенном бомбой бывшем купеческом особняке — стало привлекать меня новоявленным уютом. Мой начальник, как-то заглянув ко мне, был потрясен убожеством моего быта. Особнячок находился довольно близко от железной дороги, которую немцы регулярно бомбили, не имело смысла вставлять окна, что ни день вылетавшие от взрывной волны, и я забил окна фанерой, да и вообще не имело смысла устраиваться фундаментально, поскольку я собирался вот-вот переехать в более тихий район. У меня не было никакой мебели, кроме раскладушки, табурета и двух ящиков из-под пива, изредка поступавшего в генеральскую столовую. Печурка нещадно дымила, но не давала тепла, из всех щелей и с потолка несло, и хоть я не пил, не курил и не собирал компании,— жилье было чудовищно замусорено, захламлено черт знает чем: какие-то бумажки, старые газеты, консервные банки, раздавленные спичечные коробки, и откуда-то окурки и даже пустые бутылки. Начальник обругал меня, назвал мой образ жизни «цыганским» и прислал мне из резерва выздоравливающего после ранения сержанта. «Ранение» — слишком сказано, сержанта просто царапнуло осколком мины по плечу. Этот здоровенный, флегматичный малый оказался на редкость ловок, толков и домовит. Он законопатил щели, утеплил потолок, вымыл полы, вставил стекла, наладил печурку и приволок откуда-то старинный столик с инкрустацией, качалку и потертое, но очень удобное кожаное кресло. Лампы он снабдил абажурами из цветной бумаги. Только тюлевых занавесок да фикуса не хватало для полной буржуазности. Теперь я с удовольствием думал о том, как приду

домой, разденусь, разуюсь, похлебаю супа и усядусь в кресло читать «Три мушкетера». Сержант обладал еще одним незаменимым достоинством — молчаливостью. Подобно славному Гримо, слуге благородного Атоса, он держал рот на замке. Но если на меня находил разговорный стих, сержант покорно вступал в беседу. Золото, а не сержант, и я с грустью думал, что скоро лишусь его.

Я не предупредил сержанта о дне своего возвращения, но он словно ждал меня: печь весело потрескивала, похлебка из горохового концентрата бурлила и благоухала, возле насвежо застланной кровати стояли шлепанцы. Сержант молча козырнул, забрал мои валенки, полушубок, портянки и вышел в сени.

Вскоре он вернулся, повесил стиранные портянки сушиться, а валенки посунул к печке. Он тихо хозяйствовал, а я следил за его плавными, спокойными, округлыми движениями и недоумевал, почему моя убогость начинает вытесняться каким-то глухим раздражением.

Я глядел на этого дебелого, мучнистого парня с широким, припущенным задом, тяжелыми ногами и долгой, толстой шеей, увенчанной маленькой — не по туловищу — головой, на его походочку с перевальцем и не мог взять в толк, кого он мне так мучительно напоминает.

Сержант снял с печурки надраенный до блеска, лишь по донцу обгорелый котелок и перелил в тарелку духовитую, припахивающую свиной и лучком похлебку, поставил на стол. У меня защипало в носу от перечной горечи, а рот наполнился голодной слюной. Готовил сержант знатно, и можно лишь удивляться, как ухитрялся он из нашего скудного и однообразного пайка создавать такую вкусноту.

При своем неладном крое сержант вовсе не казался уродом, в его чистой коже, светлых, ясных красках ощущалась хорошая крестьянская порода, он не был сырым, тестовым, а мясным, костяным, это и придавало плавную точность его движениям. Но кого же он напоминал, и почему во мне шевелилось недоброжелательство к тихому, кроткому парню?

— Ты где до войны работал? — спросил я его.

— На молокозаводе.

Я невольно усмехнулся: уж очень подходило место работы к его сметанному облику.

— Думаете, товарищ майор, что я пенки снимал? — сказал он без обиды и вызова, с каким-то грустным достоинством.

Меня поразила его пронизательность, я чуть смутился.

— Да нет... Просто вид у тебя такой кормленный... и с чего только? Старый запас? С наших харчей не раздобреешь.

— Здоровьем вышел,— пояснил сержант.— Меня из Ленинграда ногами вперед вывезли, кожа да кости, а через три недели я в своей комплекции был, врачи даже удивлялись. С ячневой каши, горохового пюре да комбижиру всего себя восстановил. Другой навораживает — глядеть страшно, а дохляк-дохляком, все в глист идет, а у меня организм всякую пищу на пользу себе усваивает.

Мне понравилось его обстоятельное, серьезное объяснение. Видимо, сержант уважал и ценил завидные свойства своего образцового организма, но тут я вспомнил, что на несытом нашем фронте, в промерзших блиндажах сидят худые, измученные люди, чьи организмы отнюдь не обладают столь завидным свойством, и вшившийся клещом в денщицкое житье парень с пустяковой царалиной стал мне снова неприятен.

— Слушай, а почему ты не на фронте? Ты же здоровый совсем.

— Не посылают...

— Может, забыли о тебе? Ты бы напомнил.

— А зачем? — искренне удивился сержант.

— Ну, конечно, здесь подходяще, тишь да гладь, кино через день да и баб хватает! — сказал я с неожиданной для самого себя злостью.

Он вздохнул.

— Этим не интересуюсь.— Сержант замолчал, но затем словно почувствовал, что я жду еще чего-то.— Я, товарищ майор, на войне с первого дня. Имею пять ранений, из них два тяжелых, а война вон только начинается. Чего мне торопиться, здесь, верно, и тихо, и сытно, и пули не летают, почему же не отдохнуть? А фронт от меня не уйдет, да и мне от него не уйти, до Берлина вон как далеко!..

Он вдруг устремился к печке с гусиным своим перевальцем и отодвинул от ее жара завонявшие паленым валенки. Меня осенило: «Гусак, вылитый гусак, вот он кого напоминает!» — И вспомнилось соловьевское: «Променяла меня на какого-то гусака!»

— Слушай, сержант, а ты давно здесь... отдыхаешь?

— Недавно.

— А летом?

— Тогда я по тяжелому ранению был,— он снова вздохнул.— Сейчас меня обратно задело.

— А ты знаешь, что Соловьева реабилитировали? — сказал я, не испытывая никаких сомнений на его счет.

— Это как понять?

— Простили и звание вернули. Он скоро здесь будет.

— Заслужил, значит...

— Скажи, сержант, только честно, какие отношения были у вас с Тоней?

— Известно, какие,— ответил он тихо и вовсе не удивленный вопросом,— любовь у нас была.

— А как же Соловьев?

— Она была ему очень обязанная. А больше ничего. Нешто он ей пара?

— Боялась?..

Он пожал плечами.

— Жалела.. Жалела и щадила его самолюбие.

Не знаю отчего, но я сразу и до конца поверил ему. Не нужен был Тоне блестящий капитан Соловьев с его крайностями и фейерверком, книжным романтизмом, с картинной — на всеобщее обозрение — преданностью, коренящейся не в тихой доброте, а в самолюбии. Он ничего не требовал от нее, но он считал ее своей собственностью, что и доказал с помощью пистолета. Он не допускал и мысли, что она может иметь свою судьбу, полюбить другого, а она взяла и полюбила простого, ясного парня, надежного и домовитого, сердцем угадав в нем спутника, мужа, отца своих детей. Но она щадила Соловьева да и побаивалась, поди, не столько за себя, сколько за сержанта, и оттягивала объяснение. А возможно, она надеялась, что капитан сам к ней охладает, утомившись затянувшейся игрой, или, поверив слухам, отступится в молчаливой гордости. Но она ничего уже не боялась, только жалела, щедро, по-женски жалела человека, сперва подарившего ей жизнь, потом отнявшего, когда мертвеющими губами уверяла в своей любви и верности. Она не знала, что истина откроется на операционном столе, она хотела расплатиться с Соловьевым за его хорошее.

— Товарищ майор,— послышался тихий, вежливый голос сержанта.— Откомандируйте меня в часть.— Столь же убежденно и просто он только что уверял, что на фронт ему нечего спешить.

— Опасаетесь встречи с Соловьевым?

— Да,— подтвердил он серьезно.— Не простил я ему ни Тони, ни ребенка нашего. Он горячий, может резкость сказать, зачем погибать лишнему человеку?

— Ладно,— сказал я,— сделаем. Вы только сами на него не кидайтесь.

— А зачем? — холодно сказал сержант.— Войне горячее нужно.

Я выполнил его просьбу. Больше мы не виделись. Сержант вскоре погиб в боях под Синявином, где была прорвана Ленинградская блокада.

А вот с Соловьевым мне довелось встретиться много лет спустя. Это случилось в старинном городке Суздале, куда я приехал

причаститься русской старины. После осмотра Покровского монастыря, в чьих стенах разыгралось невиданное в человечестве надругательство над женщиной — беременной Соломонией из рода Сабуровых, которую муж ее, государь Василий III, насильно постриг в монахини за «бесплодие», я решил подкрепиться. Неподалеку от центра находился ресторан, оформленный под старинную русскую харчевню: там стояли нарочито грубо сбитые столы и лавки, еда подавалась в глиняных горшочках, а квас — в кувшинах. Гардероб обслуживала носатая старуха в кокошнике и шушпане. Я сдавал ей пыльник, когда ввалилась компания охотников. Огромные в своих брезентовых плащах и болотных сапогах, с ружьями в кожаных чехлах, заплечными мешками и сетками, набитыми дичью, пахнущие лесом, торфом, порохом и кровью, они производили много ядреного мужского шума: базили, прокашливались, харкали, что-то роняли, шмякали, в них ощущалась та наивная показушность, какой отмечены все городские охотники.

В узком, продолговатом зале ресторана-харчевни они заняли ближний от меня столик и сразу начали громко требовать официантку, похожую на царевну Несмеяну. Прошло немного времени, и я почувствовал на себе слишком пристальный взгляд одного из охотников. Я сразу узнал Соловьева. Он сильно изменился: от его цыганской поджарости не осталось следа, хотя горячие цыганские краски сохранились, сейчас он скорее напоминал левантинца средних лет: дородность, несколько томная красота большого смуглого лица, широкая неспешность жестов.

Соловьев долго вглядывался в меня, томясь ускользящими образами былого. Я знал, что он злится на свою безпамятность, но не хотел облегчить его муки. Все же он принудил свой мозг отыскать меня в давно утраченном времени. Он кинулся ко мне с шумной сердечностью, обнял, ткнул в щеку твердым ртом и потащил за свой стол. Он познакомил меня с друзьями, называя запросто «майором», а их — уменьшительными именами. Дружелюбно «тыкая», заставил пить водку и какую-то медовуху, вспоминал Волхов, болота, леса, бомбежку, и даже легчайшего облачка не промелькнуло по его чистому, загорелому челу. Он почел нужным сообщить друзьям, что майор, «вот этот самый», вызволил его из беды, и как-то плутовато подмигнул мне. Друзья никак не отозвались на это известие и вскоре затеяли страстный, грубый спор о егере, разбившем тетеревиный выводок. Воспользовавшись тем, что Соловьев отлучился в буфет за папиросами, я незаметно ушел.

МАЛЕНЬКИЕ
РАССКАЗЫ
О БОЛЬШОЙ
СУДЬБЕ





ГЛОБУСЫ

В кабинете Юрия Гагарина, скрупулезно воспроизведенном в Музее космонавтов в Звездном городке, целую стену занимает гигантская карта Советского Союза. Гагарин работал, имея за спиной родную страну со всеми ее городами, морями, озерами, реками. Слева от письменного стола — протяни руку и коснешься — стоит большой глобус, еще один глобус находится в другом конце кабинета. Этот второй глобус, светлый, блестящий, притягивающий солнце, являет со всей очевидностью наш земной шар, планету Земля. Все в нем привычно и с детства радостно: и яркая преобладающая в расцветке го-

лубизна — воды-то куда больше, чем суши,— и наклон оси, и сетка меридианов и параллелей. Но загнанный в угол, он кажется отчужденным. Ближний глобус — необычен и странен, он темный, будто туманным сумраком подернутый, и надо долго вглядываться, чтобы по характерным кружочкам кратеров угадать поверхность нашего верного спутника — Луны. Это лунный глобус. Земной шар был облетан хозяином кабинета, оглядан весь и отставлен в угол. На очереди была Луна, и лунный шар он держал под рукой. Кто знает, не случись непоправимого, и лунный глобус в свой черед переселился бы в дальний угол, уступив место глобусу Венеры.

СЕМЕЙНЫЙ СПОР

Старинный Гжатск, ныне Гагарин, вскоре будет праздновать свое 250-летие. Смоленские художники уже сделали эскизы юбилейной медали и памятных значков. Мы находились в доме родителей Гагарина, когда секретарь горкома партии по пропаганде привез им, почетнейшим жителям города, эти эскизы для ознакомления и отбора.

Посмотрели. Рисунки красивые. На всех — в той или иной мере: от строго реалистической до условно-обобщенной — что-нибудь космическое и четкая надпись: «Городу Гагарину 250 лет».

— Славно, славно! — говорила Анна Тимофеевна. — В общем, ничего. Видно, что люди поработали.

Анна Тимофеевна напоминает мухинскую «Крестьянку», — за печатью лет та же величавая прочность, укорененность (такую, коль не захочет, не сдвинешь, не столкнешь), та же спокойная, изнутри светящаяся красота.

— В начале восемнадцатого века на реке Гжать, притоке Вазузы, государем-императором Петром Великим был основан город Гжатск, — услышали мы хрипловатый, «табашный» голос Алексея Ивановича.

Все, кроме Анны Тимофеевны, повернулись к нему с почтительным недоумением.

— От так! — сказал он сердито.

— Ну, чего несешь? — укорила его жена. — Нешто без тебя люди не знают?

— И был сей град пристанью для перевозки хлеба и прочих грузов в Санкт-Петербурх, — спокойно и значительно произнес Алексей Иванович.

— Талдычишь, как пономарь!..

— Равно же осуществлялся по Гжати сплав строительного леса,— заключил Алексей Иванович.

Секретарь горкома оказался человеком на редкость сообразительным. Он пошевелил эскизы и спросил:

— Что вам тут не нравится, Алексей Иваныч?

— Вижу приметы нашего Юрия, а где приметы старины? Нешто Юрка основал Гжатск на речке Гжати?

— Он город Гагарин создал,— ответил секретарь горкома.— Осенил его своим подвигом и дал свое имя.

— Не спорю — Юрка заслужил, и отражен — будь здоров! Но не вижу ничего от петровского города Гжатска, от его старой службы русской земле.

— Да ты что, о царе, что ль, возмечтал? — обозлилась Анна Тимофеевна.— Кто это тебе будет на советскую медаль царей шлепать?

— Я о царе не мечтаю, но должно быть выбито исконное название города — Гжатск!

— Нету никакого Гжатска, есть Гагарин!

— Сегодня он Гагарин, завтра Самарин или там Фуфарин... Оренбург вон тоже Чкаловым назывался! — Он молодо, озорно улыбнулся и — костистый, гологлазый, старый сокол — на миг стал в одно лицо с погибшим сыном.

— И чего тут общего? Нешто Чкалов родом из Оренбурга? Он и не жил там никогда.

— Даже в знаменитой летной школе не обучался,— заметил секретарь горкома.

— Гжатск хлебушком своим Санкт-Петербурх кормил! — упрямо сказал Алексей Иванович.

— Вот и попался! Когда Ленинграду двести пятьдесят стукнуло, нешто кто вспомнил о Петербурге или Петрограде?

— Сравнила нашего Юрку с Лениным!..

Анна Тимофеевна слабо, но ровно порозовела всем своим широким серьезным лицом.

— Видали — отец против сына идет!

— Я не иду против дорогого нашего сыночка,— твердо и печально сказал Алексей Иванович,— пущай так и будет на медалях вся эта косметика и надпись: «ГАГАРИН», а внизу чтоб ма-ахонькими буквочками: «Гжатск»!

Поколения Гагариных жили в немудреном равнинном крае над тихой речкой Гжатью, и памятным апрельским днем в мировое пространство вырвался г ж а т с к и й парень.

Алексей Иванович Гагарин из тех мудреных, острых, неожиданных и беспредметно одаренных русских людей, что так влекли угрюмое сердце Лескова. Он до ноздрей налит талантливостью, не нашедшей формы и выражения. Такие люди раскрываются не в собственном творчестве, а через носителей наследственности,— в потомстве.

Он искусный плотник, но большую часть жизни проработал сторожем, отчасти по причине инвалидности, отчасти по игре жизненных обстоятельств; сторожить же ему доводилось и спиртоводочный завод, и военные склады, и всевозможное народное имущество. Он хром с младенчества — у него по недогляду взрослых на печи сухожилие сопрело, — но в довоенное время немало побродяжничал, отчасти в поисках заработка — случались худые, бесклевные годы на Гжатчине, — отчасти в неумеренной потребности новых впечатлений, встреч с умными, свежими людьми. Да, он очень общителен, беседлив, но вдруг, будто кончается некий заряд, раскручивается до конца пружина внешнего интереса, и он, подобно Агафье Тихоновне, может ошарашить собеседников: «Пошли вон, дураки!» — и углубиться в свою тишину.

Отхожий промысел крепко подвел Алексея Ивановича в черные дни оккупации. Довелось ему однажды поработать мельником на Орловщине, и когда немцы заняли Гжатчину и расположились гарнизоном в Клушино, кто-то накапал в комендатуре: мол, Гагарин может по мельничному делу. Его вытащили из землянки, где, изгнанный из собственного дома, он обитал со всем семейством, и определили в мельники.

На околице села стоял старый, почерневший от лет, дождей и бездействия ветряк с оборванными крыльями. Но жернова были хоть куда, их сцепили с бензиновым двигателем, и мельница заработала.

— Молод я и на своих односельчан, и на неприятелей, — рассказывает Алексей Иванович. — Бензин мне скупой отпускали, а мотор хреновый был, жрал горючее, как рыба акула. Ну, и фрицы обижались, что мельница часто бездействует. А я что — виноват? Пью я, что ли, ихний бензин заместо вина? И как на грех: своим молот — горючее в наличности, фрицам — его нема. А я-то при чем, раз так получается? Ну, раз взъелся на меня ихний фельдфебель, орет, слюной брызжет: «Ла-ла-ла-ла-ла-ла!» А я ему: «Чего ты лалакаешь? Тебе же русским языком сказано: никст бензин!» Он планшетку схватил, чего-то нацарапал на бумажке и мне сует. И опять: «Ла-ла-ла-ла-ла-ла!» — аж голова пухнет. Но одно слово я

все ж таки разобрал: комендатур. Ладно, говорю, понял, аффидер ку-ку! И пошел, значит, в комендатуру...

Он шел по селу своим неспешным, прихрамывающим шагом и с тоской примечал порухи, наделанные войной. Много домов было напрочь сметено во время бомбежки, много выгорело до печей, село казалось сквозным, во все стороны проглядывало ровное грустное поле, окаймленное вдали лиственным лесом. Там, где улица делала крутой поворот и забирала вверх к центру села, он обнаружил сынишку Юрку и окликнул его:

— Эй, сударь, чего смутный такой?

— В животе болит.

— Переел, видать,— усмехнулся отец.— Перепоешься потуже, чтоб кишки не болтались, враз полегчает.

— А ты куда, папаны?

— В комендатуру. Записку велели снести.

— Зачем?

— Я так полагаю: просят выдать мне десять кил шоколада.

— Не ходи ты за ихним шоколадом, папаны.

— Нельзя, сынок. Этак худшее зло накличешь. А то пострадают для порядку, и делу конец.

Юра пошел с отцом. Они миновали гигантскую старую ветлу с мощным изморщиненным стволом, необъятной кроной, и была та лоза под стать древнему дубу.

— При деде моем стояла,— с нежностью сказал Алексей Иванович о дереве.— Может, оно еще в дни царя Петра посажено!

— Папаны, ты что — спятил? — спросил сын.— Я же миллион раз это слышал.

— Неужто миллион? — удивился Алексей Иванович.— Стал быть, я повторяюсь?.. Видать, старею, сынок...

Комендатура помещалась в здании бывшей колхозной конторы, стоявшем с краю общественного двора. Сейчас двор пустовал, кроме конюшен, где немцы держали своих заморенных лошадей.

Возле комендатуры расхаживал часовой с автоматом на шее. В караульном помещении отдыхающие немецкие солдаты боролись с вшами. Они задирали подол рубахи, снимали вошь и, не догадываясь ее щелкнуть, кидали на пол, приговаривая:

— Капут партизан!

— Видал? — кивнул сыну Алексей Иванович.— Людей истреблять, стал быть, проще. А на вошь ума не хватает.

Немецкий часовой двинулся на них с грозным видом. Алексей Иванович протянул ему записку, тот прочел, присвистнул, засмеялся и дружелюбно пригласил Алексея Ивановича пройти в комендатуру.

Юра хотел последовать за отцом, часовой не пустил. Юра

пытался скользнуть у него под рукой, но часовой ловко поймал его за воротник рубашки. Каждый схваченный за шиворот мальчишка, если он не раб в душе, безотчетно пускает в ход зубы. Часовой тихо, удивленно и обиженно вскрикнул, отшвырнул мальчика и ударил его кованым сапогом пониже спины. Юра отлетел шагов на десять и приземлился легко и бесшумно, как кошка.

Гарнизонный палач Гуго, толстый, страдающий одышкой, и переводчик, прыщавый паршивец из местных перевертней, отвели Алексея Ивановича на конюшню.

— Велели они мне руками за стойку взяться. Схватился я покрепче за эту стойку и думаю: экая несамостоятельная нация,— и вошь толком не умеет истребить, и человека высечь — на мне же полный ватный костюм. Тут Гуго чего-то сказал толмачу, а тот переталдычил: задери, мол, ватник. Закинул я ватник на голову,— ничего, меня и брюки защитят! А они обратно посоветовались и велят мне ватные брюки спустить. Ладно, на мне кальсоны байковые, авось выдержу. Но и кальсоны тоже велели спустить. Нет, нация не такая уж бестолковая!..

— А совесть у вас есть? — говорю.— Я же вам в отцы гожусь.

Куда там! Гуго как завел: «Ла-ла-ла-ла-ла-ла!» — хоть уши затыкай.

Ладно, повинуюсь. В стойле рядом лошадь стояла, наша, Смоленская, фрицами мобилизованная: худющая, вся спина в гнойниках, над глазами ямы, хрумкала сеном и вздыхала. Повернула она свою костлявую голову в нашу сторону и поглядела прямо-таки с чело-вечьим стыдом на все эти дела. И вздрагивала она своей залысой шкурой при каждом ударе.

После Гуго плеть опустил, а переводчик спрашивает:

— Ты почему не кричишь?

— Нельзя мне,— говорю,— сын может услышать.

— Не слишком ли слабо он бьет?

— Бьет — не гладит.

Гуго посипел, посипел, отдышался и обратно за дело принялся. Уставал он, однако, быстро.

Прыщавый ко мне:

— Он спрашивает, ты будешь кричать?

— Пусть не сердчает,— говорю и слышу себя, будто издаля.— Мне б самому легче... Да ведь сын рядом...

— Он только что пообедал и не в руке,— извиняется за Гуго прыщавый.

— А у меня претензий нету...

Гуго обратно заработал, и я вроде маленько очумел, не сразу услышал, чего мне прыщавый внушает:

— Покричи хоть для его удовольствия и собственной пользы.

— Пан,— говорю,— в другой раз... Когда один буду. Нельзя, чтоб мальчонка слышал...

— Он очень расстроен,— говорит толмач.— Начальство подумает, что он плохой экзекутор, и отошлет его на фронт. А у него трое малых детей. Пойми его как отец.

— Коли надо, могу ему справку выдать... Так сказать, с места работы.

— Ну, ты допрыгаешься! — говорит толмач. Похоже, он тоже расстроился.

Вот дурачье! Как будто я назло им! Когда кричишь или хоть стонешь, куда легче боль терпеть. Но ведь не могу же я, чтоб Юрка слышал...

Перекрестил Гуго меня еще разок-другой и сообщил через переводчика, что не хочет даром тратить силы на такого гада, как я. Мол, и так мне выдано с привесом. Спасибо, а я-то боялся, что недополучу по ордеру...

Оделся я, попил воды из кадки, смыл кровь и вышел на улицу. Гляжу, через дорогу, под ракитой Юрка стоит. Переправился я к нему, и пошли мы домой.

— Папань, сильно они тебя?

— Попугали и только. Не думай об этом.

— А чего ты шатаешься?

— Вот те раз! Я ж хромый... А ты чего скривился?

— Я ничего... нормально.

Но я уже понял, что сыночка моего тоже избили, и какая-то слабость на меня нашла. Все ничего было, а тут... Мы как раз мимо ветлы проходили. Я говорю:

— Знаешь, какое это дерево?

Он глянул дико:

— При царе Петре посаженное?

— Да нет. Это целебное дерево. Коснись его, и всякую хворь как рукой снимет.

Сошли мы с дороги, и уж не помню, как я до ветлы добрался. Обхватил ее, прижался мордой к жесткой, морщинистой коре и стою, дышу. Вернее сказать, не стою, а почти лежу в прогибе ствола. Гляжу, и Юрка мой с другой стороны к ветле притулился. И знаете, я это затеял, чтоб опору найти, чтобы не свалиться, а тут и впрямь облегчение пришло...

Мы как в нашу земляночку вернулись, мать даже и не заметила, чего над нами неприятель исделал. Только когда к столу садиться стали, заминка вышла. Мать нас усаживает, а мы стесняемся.

— Да сядете вы к столу или нет? — рассерчала она.

— Знаешь, мать,— говорю,— мы решили принимать пищу по красивому заграничному способу.

— Это еще что такое?

— Как на званых, исключительных приемах: по-нашему — в стояка, по-ихнему — а-ля-фуршет.

...Мы стоим посреди села, возле громадной, голой по ранней весенней поре ветлы, в сохлых кулях прошлогодних вороньих гнезд. И неубранное листвою дерево красиво. В широком растопыре ветвей оно держит ярко-голубую фаянсовую чашу неба, разрисованную курчавыми белыми облаками; полная белая луна тоже кажется маленьким круглым облачком.

На Алексее Ивановиче Гагарине шуба крепкого сукна, с темно-серым каракулевым воротником и каракулевая папаха. Глаза его прикрыты, ладонь задумчиво скользит по твердым морщинам коры.

ЗВЕЗДЫ

Есть люди, для которых звезды много значат...

«Я подхожу к окошку и вижу, моя милая, и вижу еще сквозь вьющиеся и мчащиеся тучи одинокие звезды вечного неба! Нет, вы не упадете! Предвечный хранит вас и меня в своем сердце. Я вижу звезды Возничего, самого приветливого из всех созвездий»,— писал Вертер в своем последнем письме Лотте, затем прозвучал выстрел.

Вертер — это псевдоним молодого Гете, ему вручены гетевские любовь и мука. Если б Гете не был наделен высочайшим даром сублимации, создающим писателя, он пролил бы кровь, а не чернила, кровь из собственного сердца. И его последнее беззвучное рыдание было бы о звездном небе...

Твоих лучей неяркой силою
Вся жизнь моя озарена.
Умру ли я, и над могилою
Гори, сияй, моя звезда,—

молил свою звезду народный поэт.

И не страшась обвинения в плагиате, ибо не со слуху, а из души рождались слова, ему вторил Иван Бунин:

Пылай, играй стоцветной силою,
Неугасимая звезда,
Над дальнею моей могилою,
Забытой богом навсегда!

— Юра был странный мальчик,— вспоминает Анна Тимофеевна Гагарина.— Все приставал: «Мама, ну почему звезды такие красивые?» Пальцы сожмет и так жалобно, будто ему в сердчишке больно: «Ну почему, почему они такие красивые?» Раз, помню, это еще в оккупацию было, я ему сказала: «Народ их божьей росой зовет, или божьими слезками». Он подумал, покачал головой: «Кабы бог был, не было бы у нас немца». Не отдал он богу звезды...

Когда Гагарин, уже сержантом летного училища, приезжал к родителям на побывку, Анна Тимофеевна, проведавшая, что у сына в Чкалове есть невеста, все расспрашивала его: какая, мол, она, наша будущая сношка?

— Да разве объяснишь? — пожимал плечами сын.

— Уж больно интересно!

— Я же показывал карточку.

— Карточка — что! Мертвая картинка. С личика, конечно, миловидная, а за портретом что? Какая она сутью?

— Я не умею сказать...— произнес он растерянно.

Разговор шел в звездном шатре — августовской погожей ночью. Гагарин поднял голову, и взгляд ему ослепила большая яркая граненая и лучистая звезда.

— Вон, как та звездочка! — воскликнул он радостно.

Мать серьезно, не мигая, поглядела в хрустальный свет звезды.

— Понимаю... Женись, сынок, это очень хорошая девушка...

...Необыкновенный человеческий документ — запись разговора Гагарина с Землей: «Кедра» с «Зарей» во время знаменитого витка. Вся отважная, веселая и глубокая душа Гагарина в этом разговоре. Он был то нежен, то насмешлив, то мальчишески дерзок, когда, узнав голос Леонова, крикнул: «Привет блондину! Пошел дальше!» А как задушевно, как искренне и доверчиво прозвучало это: «В правый иллюминатор сейчас вижу звезду... Ушла звездочка, уходит, уходит!...»

Когда Герман Титов вернулся из своего полета, он сказал Гагарину:

— А ты знаешь, звезды в космосе не мерцают.

Гагарин чуть притуманился.

— Не успел заметить,— ответил со вздохом.— Всего один виток сделал.

— В другой раз приглядишься.

— Да уж будь спокоен...

Но не было этого другого раза, а Гагарин сам стал звездочкой, приветливей самых приветливых звезд в созвездии Возничего, на хранимых предвечным небесах.

Густые акации, высаженные вдоль улицы, пропускают мало солнца в комнату. Золотым помазаны только листья резеды, стоящей в горшках на подоконнике, да на полу — несколько пульсирующих пятнышек солнца. И еще взблескивают голенища Юриных сапог, когда он приближается к окну в своем челночном слонянии по комнате. А вот головки сапог у него запыленные. Похоже, он шел издалека. Летная школа находится отсюда в двух шагах, значит, их вывезли в лагеря. Куда?.. Об этом спрашивать не полагается, да он и не скажет. Вале и смешно и немного обидно, что есть в его жизни тайники, куда ей вход запрещен.

Вале мешают эти мысли, она и так не может сосредоточиться на проклятом учебнике анатомии. Особенно угнетают ее латинские названия, в голове сумбур. Она провалит экзамен. Валею бросает в жар и холод. Она самолюбива и к тому же ужасная трусиха — боится экзаменаторов, как сопливая девчонка.

С улицы то и дело доносится слабый постук, сопровождаемый тонким скрежетом, царпаньем — это слепцы идут в школу, занимающую нижний этаж дома. И не глядя на Юру, Валя знает, как напрягаются его зрачки всякий раз, когда раздаются стук и шорох палки, ощупывающей асфальт мостовой и плитняк тротуара. Насилие болезни или несчастного случая над прекрасной природой человека причиняет ему боль. Мертвые очи, задранная вкось от препятствия голова, палочка-щуп возмущают его сильное, здоровое существо, словно злобная несправедливость, с которой он бессилён бороться.

А еще он не любит цветы в горшках! — вдруг вспомнила Валя. Вспомнила, верно, потому, что ветки акаций, тронутые ветром, закачали солнечный луч, перетекший золотым маслом по листьям резеды. Ненавидит цветы в горшках и вазах и постоянно грозит выбросить их на помойку. Его возмущает насилие над природой растения, которому место в поле и в лесу, а не в комнатной духоте...

Нет, она не выучит урока — анатомия и так дается ей трудно, а тут еще тревожащее присутствие другой, близкой жизни.

— Ты что же, всю увольнительную намерен тут проторчать? — она говорит нарочито грубо, чтобы отрезать себе путь к отступлению.

Он резко остановился.

— Неужели ты никогда не выучишь эти несчастные кости?

— Во-первых, мышцы, а не кости, и, во-вторых, не твое дело.

— Ну разве можно так готовиться? Зачем ты десять раз дол-

бишь одно и то же? Прочти раз, но внимательно. Как говорит наш инструктор Акбулатов: «Действия в воздухе должны быть быстрыми, но разумными». То же и в любом деле.

— Какая самоуверенность! Что ты вообще понимаешь в медицине?

— А это мы сейчас проверим.— И ловким движением он выхватил у нее учебник.— Мышцы руки?.. Так, так...— Он закатал рукав зеленой рубашки и стал прощупывать свою сильную загорелую руку, что-то бормоча про себя.— Пожалуйста.— Он вернул ей учебник.— Мышцы руки обеспечивают пять типов движения: вращение, поворот внутрь и наружу, сгибание и разгибание. Мышцы сгибания находятся на внутренней стороне руки, разгибания — на внешней. Мышцы, управляющие поворотом, напоминают винтовую лестницу. Вращение по латыни будет ротация, следовательно и мышцы...

— Довольно!.. Довольно!..— Валя зажала уши.— У тебя чудовищная механическая память.

— Ничего подобного! Просто я стараюсь ухватить смысл, а не слова. Нет ничего хуже зубрежки...

— Ну, знаешь!..— она и сердится, и немного завидует, и вместе с тем не может не восхищаться его ясным и цепким мозгом. К тому же она вдруг все запомнила.

Словно оказывая ему величайшее снисхождение, она сказала:

— Ладно, хочешь, пойдём в парк?

— Давай лучше дома посидим.

Это ее удивило — Юра не выносил комнат, всегда стремился в природу. А городской парк был свеж, густо зелен, тенист, и девственный его пейзаж лишь изредка оживляли фигуры городских щеголей.

— Мне скоро надо в часть,— говорит он в свое оправдание.

— Вас перевели на летние квартиры?— спросила она осторожно.

— Да... Это довольно далеко и никакого сообщения.

— Как же ты сюда добирался?

— Пешком.

— И обратно пешком?

Он глянул на часы и улыбнулся.

— Нет, бегом.

— Бегом?

— А что такого? Я же неплохо бегаю кроссы...

«Лишь много времени спустя,— рассказывает Валентина Ивановна,— я узнала, что Юрина часть стояла в Караванной, и ему предстояла марафонская дистанция: тридцать пять километров».

Нас познакомил мой старый приятель, главный редактор издательства «Свет совету» Иржи Плахетка. Маленький дом отдыха, где проводил свой отпуск Юрий Гагарин, находился у подножия горы, на которой величественно высился наш «Империял» — феодальный замок, притворившийся санаторием.

Мне уже довелось однажды быть в компании Гагарина, но я не был ему представлен. Сейчас знакомство состоялось, причем влюбленный в Гагарина Иржи постарался обставить это как можно торжественней и теплее. Гагарин, вернувшийся с рыбалки, только что принял душ и побрился. Его влажные волосы были тесно прижаты щеткой к голове, подбородок и щеки чуть приметно голубели от пудры, он был стерильно чист, свеж и печален. Да, печален, это сразу чувствовалось, несмотря на обаятельную гагаринскую улыбку, легко, непроизвольно вспыхивающую на его лице, и дружжелюбный блеск глаз. Его огорченность не смогло прогнать и робкое предложение Иржи выпить бутылочку сухого винца. В конце концов живая и добрая натура Иржи не выдержала натянутости, и он спросил напрямик:

— Юра, что с тобой?

— Да ничего...— Гагарин улыбнулся и зачем-то потер ладонью коленную чашечку.

— Неправда, Юра, ты чем-то расстроен.

— Ну, расстроен — слишком сильно сказано! — возразил Гагарин, и я почувствовал, что ему хочется поделиться каким-то недавним переживанием, оставившем в его душе неприятный след.

Так оно и оказалось. Походив по комнате, небольшой, светлой гостиной, поглядев в пустое солнечное окно и вздохнув раз-другой, Гагарин остановился перед Иржи.

— Ты знаешь Иванова? — Он назвал другое имя, я не запомнил, да это и не важно.

— Конечно, знаю! — готовно отозвался Иржи. — Хороший парень!

— И я так считал... Мы вместе на рыбалке были. Черт знает отчего — то ли мне место лучше попало, то ли просто везение, но я таскал одну за другой, а у Иванова хоть бы поклевка. Мы ловили за старым мостом, там много мелочи, но и крупные форели тоже попадаются. Их видно в воде, стоят у самого дна, напрягаются против течения. Мне стало жалко Иванова, и я предложил поменяться местами. Поменялись, и, как на зло, я сразу вот такого зверя вытащил, — Гагарин широко развел руки, подумал и свел их немного ближе, но все равно получалось — будь здоров! — Я, че-

стно говоря, думал, не выведу, удилице пополам согнулось. А хороша -- бока серебром блестят, спинка пятнистая!.. У Иванова опять ни черта! Мы снова поменялись местами, и тут он наконец вытащил вполне стоящую форель. Он сразу повеселел, стал хвастаться, что еще обловит меня, и запел: «Первым делом, первым делом самолеты»... Потом крупная форель оборвала у него поводок, и ему пришлось переоборудовать снасть. А когда снова закинул, только наживка коснулась воды, как сразу клюнуло, он подсек и вытащил маленькую форель. Нас предупредили: меньше тридцати сантиметров не брать, выпускать назад в воду. И специальные линейки дали, чтобы измерять рыбу, если сомнение явится. У меня глазомер неплохой, я сразу увидел, что эта его форелька сантиметра два до нормы не добирает. Иванов взял линейку и осторожно, чтобы не повредить слизевого покрова, измерил рыбу. Так оно и вышло, как я на глаз определил. Он смочил руку, чтобы снять форель с крючка, и, видать, ему смертельно не хотелось расставаться с добычей. Он глянул на меня этак косо и опять за линейку взялся. Потом вздохнул и еще раз измерил форель. А я про себя подсказываю ему: «Отпусти, отпусти, будь человеком!» Все это вроде бы чепуха: подумаешь, одной форелью больше, одной меньше в речке, но и не чепуха, если хорошенько вдуматься. Из маленьких убийств совести рождается большое зло жизни. Иванов, можно сказать, проходил сейчас испытание на нравственность. В космическом корабле тоже ведь сам-друг обитаешь и опору в собственной душе ищешь. Иванов мучался, и я мучался за него, хотя он не знал этого. В конце концов он еще раз перемерил рыбу, чуть наклонив линейку, и получилось, что форель как раз нужной длины. Он принял этот самообман и опустил форель в ведро. А я подумал, что Иванову не бывать космонавтом...

В СУРДОКАМЕРЕ

Будущий космонавт входит в сурдокамеру, за ним захлопывается тяжелая стальная дверь. Он оказывается словно бы в кабине космического корабля: кресло, пульт управления, телевизионная камера, позволяющая следить за состоянием испытуемого, запас пищи, бортовой журнал. Испытуемый может обратиться к оператору, но он не услышит ответа. В космическом корабле дело обстоит лучше — там связь двусторонняя. На какое время тебя поместили в одиночку — неизвестно. Ты должен терпеть. Ты один, совсем один. У тебя отняты эмоции, все сигналы внешнего мира, ты как бы заключен в самом себе. Тут есть часы, но очень скоро

ты утрачиваешь ощущение времени. Это длится долго, будущий космонавт входит в сурдокамеру с атласно выбритыми щеками, выходит с молодой мягкой бородой. Все же, как ни странно, ему кажется, что он пробыл меньше времени, нежели на самом деле...

Главный конструктор Королев придавал колоссальное значение тому, кто первым полетит в космос. И не только потому, что в случае отказа автоматики космонавту пришлось бы вручную сажать корабль, а это потребовало бы мастерства, мужества, хладнокровия, предельной ясности сознания. Можно предусмотреть все, или почти все, но нельзя предусмотреть, что произойдет с человеческой психикой, когда падут привычные барьеры, когда человек впервые выйдет из-под власти земных сил и планета Земля в яви станет одной из малых в мироздании, а не центром Вселенной, когда никем не изведенное одиночество рухнет на душу. Полное одиночество — удел первого космонавта, уже второй космонавт не будет столь одинок, ибо с ним будет первый.

Первому космонавту надо было доказать раз и навсегда, всем, всем, всем, что пребывание в космосе посилено человеку.

Естественно, что Королев с особым вниманием следил за испытаниями в сурдокамере, испытаниями на одиночество. Он жадно спрашивал очередного «бородача»:

— О чем вы там думали?

И слышал обычно в ответ:

— Всю свою жизнь перебрал...

Да, долгое одиночество позволяло вдосталь покопаться в прошлом.

А вот испытуемый, чьи показатели оказались самыми высокими, ответил с открытой мальчишеской улыбкой:

— О чем я думал? О будущем, товарищ Главный!

Королев посмотрел в яркие, блестящие глаза, даже на самом дне не замутненные отстоем пережитого страшного одиночества.

— Черт возьми, товарищ Гагарин, вашему будущему можно только позавидовать!

«Да и моему тоже», — подумал Главный конструктор, вдруг уверившийся, что первым полетит этот ладный, радостный человек...

ДРУГ ДЕТСТВА

Он провожал Гагарина в последний путь: крупный, рослый человек с тяжелым подбородком, казавшийся куда старше своих тридцати четырех лет. Они были однолетками с погибшим космонавтом, но в Гагарине не иссякало что-то мальчишеское, а этот

номенклатурный человек культивировал в себе солидность и положительность. В траурном кортеже он шел в кругу близких Гагарину людей, по праву шел, ведь они были друзьями детства. Жили по соседству, росли на одной улице, вместе в школу пошли, вместе оккупацию перемогали и по освобождении снова за одну парту сели, чтобы обучаться грамоте по «Боевому уставу пехоты», а счету — по патронным гильзам, иных учебных пособий в ту пору не было. В доме Гагариных им каждый год рост измеряли: ему, Юрке и другим соседским ребятам, зарубки на дверном косяке делали, и каждый свою зарубку наособь помечал. Он здорово рос, сильнее всех вверх тянулся на тогдашних несытых харчах, а Юрка рос медленно, самым куцым был в компании и очень это переживал. Когда мерились, на цыпочки становился, и отец строго предупреждал: «Юрий, не жульничай!» А мать добавляла сыну в утешение: «Ничего, мальчик, ты еще выше всех вымахнешь!» И как в воду глядела: выше всех своих современников вымахал Юра Гагарин, когда в памятный день 12 апреля 1961 года первым из жителей Земли вырвался в космическое пространство. Но друг детства и тогда не дал закружить себе голову, он сказал жене, отложив газету: «Вот увидишь, это добром не кончится».

Не первый раз произносил он эти слова применительно к Юре Гагарину. Дороги их разошлись рано: не окончив семилетку, Юра уехал в Москву и поступил в ремесленное училище при Люберецком заводе сельхозмашин, а он остался учиться в Гжатске. Он шел спокойным и твердым шагом: десятилетка, технический ВУЗ, недолгая работа в заводском цехе, потом в заводоуправлении, а там — вызов в Москву и постепенное восхождение к руководящим высотам.

Не так шла жизнь Гагарина. Кончил он ремесленное, овладел профессией литейщика-формовщика, пятый разряд получил и вдруг все бросил и уехал в Саратов, в индустриальном техникуме учиться. Сделал диплом, но работать не пошел, а вновь за учебу принялся, только на этот раз никакого отношения к литейному делу не имеющую: стал курсантом Оренбургского военного летного училища. Мало ему земли, в небо потянуло!..

Встретились они в Гжатске, куда Гагарин приехал в отпуск. Друг уже стал инженером, женился, а Гагарин новыми сержантскими лычками щеголял. Горько стало другу за Юрия: кроме зубной щетки да расчески, не было у него ни одной лично ему принадлежащей вещи, все казенное: от кальсон до шинели, от наволочки до полотенца, от сапог до фуражки. Спал Юра на казарменной койке, писал казенными чернилами на казенной бумаге, читал только библиотечные книжки, мылся казенным мылом в солдатской бане и,

бывало, не мог повести любимую девушку в кино — не хватало «денежного довольствия».

Друг тогда по-товарищески предложил Юре займы: отдашь, мол, в лучшие времена. Тот сверкнул своей нечаянной улыбкой, поблагодарил и отказался. И хотя он улыбался, было ему, надо полагать, не до смеха. Он любил оренбургскую девушку, но разве на курсантское «табашное» жалование построишь семью? Нет, не к добру были все его скитания!..

А потом вроде дела наладились: кончил Юра училище, получил лейтенантские погоны, женился. И снова сам все разрушил. Потянуло его на север, поближе к белым мишкам. Молодая жена не могла бросить медицинский техникум, но его и это не остановило, умчался в Заполярье, на трудную и опасную работу. И снова ему жизнь улыбнулась: жена, кончив техникум, последовала за ним на край света и вскоре родила дочку. Живи и радуйся, так нет же, в который раз Гагарин рушит едва заладившуюся жизнь и уходит на новую учебу. Тогда еще не знали, что это за учеба, думали — переучивается он на летчика-испытателя.

А чему он обучался, узнали в мире апрельским днем 1961 года,— на космическом корабле «Восток» проник Юрий Гагарин в мировое пространство.

Нет, не завидовал ему друг детства, когда посыпались на гжатского паренька чины и звания, награды и славословия. Не поколебался он в своих жизненных правилах и укреплениях. Ослепительная, но случайная, как ему казалось, слава Гагарина даже повысила в нем какое-то горькое самоуважение. Кому небо и звезды, а кому наша грешная земля, где еще хватает трудной, черной работы, думал он, взирая на московские крыши из широкого окна своего служебного кабинета. И холодновато мерцала в глубине мыслишка: все равно это добром не кончится.

Жизнь сама решила их негласный спор. Не остепенился Юра, так и не остепенился. Две дочери росли, был он уже в полковничьем звании, без пяти минут генерал, ну, чего его опять в воздух потянуло? Сидел бы себе на земле, так нет!.. И не будет у него старости, не будет тихой гавани, когда, покончив с трудами, человек может спокойно оглянуться на прожитую долгую и полезную жизнь. Слеза застит взор друга детства, а губы чуть слышно шепчут: «Эх, Юрка, Юрка, говорил я, что это добром не кончится!» Ему невдомек, что ничего не кончилось, напротив, начинается — бессмертие.

ФОТОГРАФИЯ

Генерал-полковник поколдовал над сейфом, и тяжелая, толстая дверца распахнулась бесшумно-легко, как если бы обладала неведомостью. Его четкие, сухие, короткие движения приобрели такую бережность, словно он хотел пересадить бабочку с цветка на цветок и боялся повредить нежную расцветку крылышек. Он положил передо мной тетрадь не тетрадь, блокнот не блокнот — книжицу в сером переплете. Я раскрыл ее и увидел несколько неровных строчек, написанных шатким почерком. «Вошел в тень земли»... Сердце во мне забилось — это был бортовой журнал Юрия Гагарина. Генерал-полковник обрушил на стол толстый том — бортовой журнал одного из последних космонавтов со схемами, расчетами, диаграммами, сложнейшей кабалистикой математических символов, цифр. Все правильно: эти бортовые журналы соотносятся между собой, как один-единственный скромный виток вокруг Земли с теми чудесами, что творят сейчас в космосе наши посланцы. Но корявая строчка: «Вошел в тень земли» трогает душу куда сильнее, она написана рукой человека, первым преодолевшего власть земного притяжения, первым увидевшего наш дом, нашу планету со стороны. И его подвиг незабываем, невытесним из памяти сердца, как первая любовь.

Генерал-полковник показал мне обгорелые бумажные деньги: десятки, пятерки, тройки, их нашли после катастрофы вместе с именованным талоном на обед в куртке Гагарина, повисшей на суку дерева. До того как обнаружили этот талон, теплилась сумасшедшая надежда, что Гагарин катапультировался. И еще остался бумажник, а в нем, в укромном отделении, хранилась крошечная фотографическая карточка, даже не карточка, а вырезанный из группового снимка кружочек, в котором — мужское лицо. Так снимаются школьники, студенты техникумов и курсанты военных училищ по окончании учебы, служащие в юбилейные даты своего учреждения и почему-то — революционеры-подпольщики в пору нелегальных съездов. Даже себя самого трудно бывает отыскать на подобных снимках, столь мелко изображение. Кого же вырезал так бережно из групповой фотографии космонавт № 1, чье изображение хранил так застенчиво-трогательно в тайнике бумажника? Напряжением глаз, памяти, воображения рождается угадка — это нестарое, сильное, лобасто-челюстное лицо принадлежит недавно умершему Главному конструктору Королеву. Он дал Гагарину крылья, Гагарин облек его мысль в плоть свершения. Вдвоем они сотворили величайшее чудо века. Но внутренняя их связь была еще крепче и значительнее, нежели принято думать. Прекрасная мужская скром-

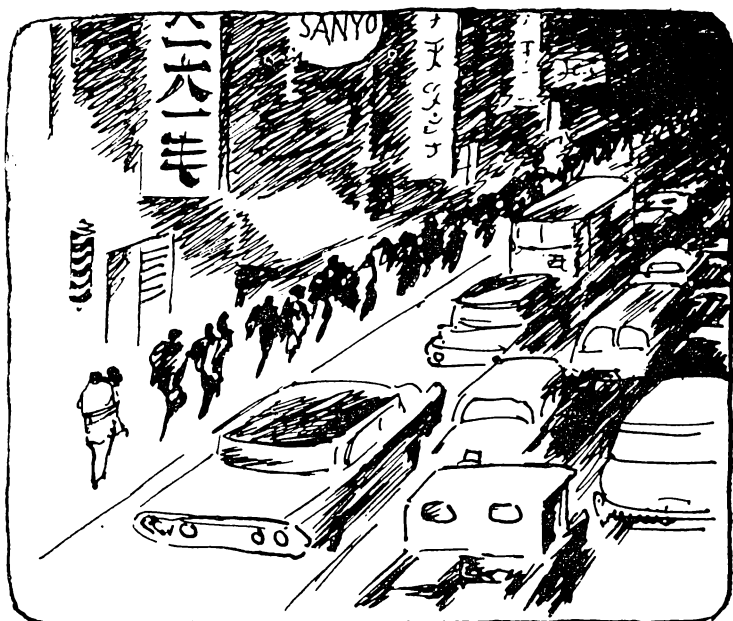
ность, страшась умильности и слезницы, не позволила Юрию Гагарину попросить фотографию у старшего мудрого друга, и он вырезал ее ножницами из случайно попавшегося ему группового снимка и всегда носил с собой, возле сердца, и это так хорошо, трогательно, поэтично и многозначительно, что и сказать нельзя!

К Гагарину был прикован взгляд всех современников, ему выпало редчайшее счастье быть любимцем века, на нем, если позволено так выразиться, примирялись все вне зависимости от социальной веры. На него смотрели с восторгом, удивлением и нежностью темные, светлые, узкие, круглые, раскосые, молодые, старые глаза, но никто не видел его так пронизательно, как Королев. Главный конструктор говорил: если Гагарин будет по-настоящему учиться, из него выйдет первоклассный ученый. С его великолепным, ясным и мускулистым мозгом, незамутненной предвзятостью, рутинной и ленью, можно многого добиться в науке.

Бытует такая банальность: Королев и Гагарин — это мозг и рука. О Королеве долгое время никто ничего не знал в широком мире. Уэллсовский Невидимка лишь в смерти вновь обрел зримость. В наш грозный век это участь многих, быть может, лучших людей, они Невидимки вплоть до своего последнего часа. Смерть рассекретила Королева, и теперь мы знаем, что он был не только Человеком мысли, но и Человеком действия, волевым, смелым и вместе — расчетливым и непреклонным в достижении поставленных целей. И мозг и рука. Прощаясь с Гагариным, мы провожали в последний путь не только Героя, Человека действия, бесстрашного Исполнителя чужого замысла, но и — как некогда о Пушкине — «умнейшего мужа России»...

ЕДИНСТВЕННЫЙ ПОСТУПОК

Быль





— Киозимо норю сел — в медово вкрадчивом голосе радиодиктора истаял непрочный утренний сон Кунио Асами. Он отбросил легкое одеяло, раздвинул зеленый марлевый полог и вскочил с матраса. Солнечный свет, проникавший в щели сударэ, привычно испещрил полосами его спальное кимоно. Душевная боль, не отпускавшая его со смерти сестры, отстала почти на целую минуту. Он успел потянуться, присесть, хрустнув коленями, выпрямиться, и лишь тогда боль привычно заполнила грудь. В роковой день Хиросимы Мицуэ было три года, всю последующую жизнь она прожила словно под топором. Впрочем, по ней этого нельзя было сказать, настолько

легкой и радостной казалась ее открытая душа. Мицуэ жила так, будто ей ничего не грозило. Она лишь старательно начесывала по утрам густые, гладкие волосы на черный струп изуродованного виска. Под топором жила мать, теперь Кунио не сомневался, что мать все время ждала беды, у нее были стеклянные глаза: блестящие и неподвижные. Но нет, и Мицуэ чего-то ждала. Она не вышла замуж, хотя ей не раз делали предложение, она наотрез отказалась поменять Хиросиму на другой город, хотя Кунио звал ее сперва в Киото, затем в Иокогаму, да и мать настаивала на переезде. Нет, подобно всем отмеченным печатью дьявола, она держалась за Хиросиму; здесь не требовалось никаких объяснений, никто ни о чем не спрашивал, здесь заранее было списано все: странности, отчаяние, неполноценность, душевная и физическая, беспричинные слезы и всплески опасной веселости. Верно, Мицуэ чувствовала, что когда-нибудь ей не достанет легкости...

Сам Кунио не был под атомной бомбой, он служил в частях противовоздушной обороны в Киото и не знал того, что знали сестра и мать. Быть может, потому и пролегла между ними добрая отчужденность, некая зона умолчаний. Мать телесно не пострадала от бомбы, в тот день она с рассветом отправилась в деревню за продуктами, оставив Мицуэ на попечение соседки, и в безопасном отдалении наблюдала гигантский черный гриб, выросший над городом, над жизнью ее маленькой дочери. Долгое время она делала вид и перед собой и перед другими, что весь ущерб Мицуэ сводится к испорченной коже на виске. Она заводила разговор о переезде в другой город с таким видом, будто речь шла о чисто бытовой проблеме. Но Мицуэ не хотела, не могла уехать из Хиросимы, и мать сникла перед кроткой непреклонностью дочери. Да иначе и быть не могло, в ней текла здоровая кровь, но ведь существует атомная болезнь души. В Хиросиме не было пострадавших и уцелевших — опалены взрывом были все. Да и только ли в Хиросиме? Разве Кунио так уж безраздельно принадлежал миру здоровья и неомраченного благоразумия? Разве был у него день, вернее, ночь, когда бы все не сжималось в нем мучительным страхом за Мицуэ? Черная атомная поганка вечно находилась у него внутри, но в дневной суете он как-то забывал о ней, а ночью она набухала в груди, давила на сердце, душила, исторгала слезы и хриплые стоны.

Теперь уж нечего бояться, ожидаемое свершилось: у Мицуэ прядями вылезли волосы, тело покрылось темными знаками, похожими на стигмы, и в беспощадной ясности сознающего рассудка она умерла. Ни в чем не повинная перед миром, любившая все живые существа, цветы и деревья, веселые книжки и му-

зыку, двадцати пяти лет от роду стала добычей могильных червей.

Мицзуэ умерла, а по улицам Хиросимы по-прежнему ходят красивые девушки и молодые женщины, обреченные на безбрачие, ибо под одеждой они скрывают уродливые шрамы ожогов. Их обгоняют молодые мужчины спортивной внешности, сплошь мускулы и сухожилия, с оловянными глазами, их взгляд никогда не озарится желанием...

Все эти образы и соображения, с калейдоскопической быстротой мелькавшие в голове Кунио, пока он скидывал теплое, чуть влажное в проймах спальное кимоно, мылся в ванной комнате, чистил большие, неровные зубы, одевался и брился электрической бритвой, нельзя было назвать размышлением, они творились сами по себе, без всякого усилия, волевого импульса с его стороны, даже вопреки ему. Кунио охотно подумал бы сейчас о чем-нибудь другом, но он не мог помешать разматываться тяжелой, как якорная, цепи воспоминаний. И Кунио знал, что опять придет к нему смутное чувство вины, опять он будет казниться тем, что в жизни не совершил ни одного с в о е г о поступка.

Эта мысль, давно томившая Кунио, стала нестерпимой после смерти сестры. Он всегда жил чужим умом, чужой волей, чужой указкой. Все решали за него другие. В детстве им правил отец, в школе — учитель, в армии — сержант, в мирной жизни — главный бухгалтер фирмы, где он служил. Эти люди порой давили на него грузом собственного авторитета, порой же прибегали к поддержке верховной власти: бога, императора, лейтенанта — командира взвода, директора фирмы. Отец умер, бог низвергнут, император низведен до роли слабо одушевленной куклы, годной лишь для представительства на приемах и раздачи школьных наград. А главный бухгалтер и небожитель — директор по-прежнему осуществляют свою власть. Они требовали от Кунио повышения квалификации — и он подчинялся. Они увеличивали ему заработную плату и тем призывали к улучшению быта, — Кунио пришлось купить громадный телевизор, наисовременнейший холодильник и наконец автомобиль «Тойопет» за четыреста тысяч иен с годовой рассрочкой. Машина потребовала строительства навеса и регулярной кормежки бензином по пять-десять иен за литр.

Впрочем, он жил в подчинении не только у своих прямых хозяев. Его сознание находилось в иных тенетах: политические демагоги через газеты, радио и телевидение навязывают ему свои решения по всем главным вопросам, от которых зависит жизнь и смерть его близких, да всех малых на земле, именуемой Япония.

В юности ему казалось, что люди, присвоившие себе право решать за него, осияны светом высшей справедливости, недаром же за ними незримо высились бог небесный и земной бог — император. Но эти идолы рухнули и разлетелись на куски в позорный день капитуляции, и теперь указчики опираются лишь на свою беспредельную наглость, рутину и привычную покорность масс.

Но он, Кунио, еще больший раб, чем другие. Полной самостоятельности не оказалось даже в таком интимном его поступке, как женитьба на Эмико. Она работала в баре «Волна» и подсела к нему однажды, когда он в одиночестве тянул виски. Она была очень скромна и разорила Кунио лишь на бутылку тринадцатиградусного пива. Затем пригласила его танцевать и во время танца погладила по щеке. Он никогда не имел дела с хостесс, или баргерлс, как их еще называют, но знал, что они скромны, серьезны и не позволяют посетителям лишнего, их цель — завязать долгие, прочные отношения, нередко кончающиеся браком. Кончающиеся... А у него с этого началось. Он и трех раз не встретился с Эмико, лишь однажды и то обманом поцеловал ее в губы, когда его пригласили к директору фирмы. Только с Кунио бывают такие истории: отец Эмико, в прошлом военный, а ныне захудалый железнодорожный служащий, оказался другом детства директора, и тот жестко предупредил Кунио, что если он рассчитывает на продвижение, ему следует узаконить отношения с девушкой, которой вскружил голову. Кунио, несомненно, и сам пришел бы к такому решению, Эмико ему нравилась, он был на пороге влюбленности, но именно на пороге, и тут чужая рука вновь схватила его за шиворот и перетащила через порог. Его сердцем распорядились так же властно и беззастенчиво, как раньше распорядились рассудком и верой. Впрочем, он мог лишь благодарить заботливого, но чересчур нетерпеливого отца Эмико, она оказалась прекрасной женой — нежной и преданной, она подарила ему двух чудесных близнецов: Тацуо-цана и Тадаси-цана, вон они спят на своих коротеньких тюфячках, сжав маленькие крепкие кулаки и шевеля лиловатыми губами. Кунио был счастлив с Эмико, но стоило вспомнить, что и здесь чужая воля опередила его собственный поступок, как в душе закипало раздражение.

— Завтрак готов! — послышался из кухни шепот Эмико.

На столе уже дымился мисосури, он знал, что потом будут соленые огурцы, редиска, вареный рис и чай, этот завтрак ему подавали изо дня в день вот уже восемь лет. Он ничего не имел против горохового супа и зелени, но разве его спрашивали об этом? Перед ним ставили маленькие мисочки — ешь. «А я не хочу мисо-

сури, не хочу редиски и соленых огурцов, да и риса я не хочу! Я хочу рыбу, сырую, розовую кету я хочу! И похлебку из красных соевых бобов, непременно красных!» Но он уже отхлебнул горячей, вкусной — в какой уже раз вкусной — гороховой похлебки, покрывшись малому насилию столь же безропотно, как и насилию большому.

— Пора будить мальчиков! — сказала Эмико.

Она обогнула плиту обычным гибким движением своего узкого, стройного тела, движение это взволновало Кунио, и неожиданно для себя самого он громко всхлипнул.

— Что с тобой? — растерянно спросила Эмико.

«Кажется, я впервые совершил какой-то свой, да к тому же необъяснимый поступок»...

— Суп попал в дыхательное горло, — мгновенно овладев собой, соврал он.

Эмико улыбнулась, не размыкая нежных, долгих губ, и прошла в детскую.

«И все-таки я сделаю это», — подумал он и не почувствовал жалости к себе.

Он оделся, повязал гастук, снял с вешалки пыльник и тут приметил на телефонном столике программу недавних соревнований по сумо, проходивших в Токио. Вначале весь кокугикан болел за Тайхо, бессменного чемпиона последних лет, его превосходство казалось настолько неоспоримым — случайный проигрыш иокодзуну Сатанаяма ничего не значил, — что было просто бессмысленно болеть за кого-нибудь другого. И потом его любили — за добродушие, застенчивую улыбку, мощное и гармоническое сложение, решительную, но не жесткую повадку кроткого богатыря. Когда же одзэки Китанофудзи внезапным рывком поставил его на самый край дозё и взбурлилась в последнем изнемогающем напряжении необъятная спина борца, с публикой случилось что-то невообразимое. Она вдруг возненавидела его за свое долгое преклонение перед ним и за то, что он оказался не таким совершенством, как привыкли думать, что он обладает человеческими слабостями и не всегда способен собрать себя для победы, к тому же вспомнили, что он не чистый японец, мать у него русская из Харбина. Кокугикан неистовствовал. Люди орали, грязно ругали Тайхо, яростно подстигивали Китанофудзи, оскорбляли судью — гиодзи, якобы не заметившего, что Тайхо заступил за край дозё. Прямо в затылок Кунио, так что шевелились и вставали дыбом его слабые, поредевшие волосы, заходился в крике молодой японец. Сорвавшись с голоса, он издавал странное нутряное рычание, напоминавшее предсмертный хрип. Кунио оглянулся, из жерла широко открытого рта

его обдало гнилостным дыханием, будто пахло в самое лицо смрадом могилы, войны. Его чуть не стошнило, он поспешно отвернулся, зажав нос и рот носовым платком. Смирение, кротость, всепрощение — единодушно восславляемые добродетели послевоенной Японии, побежденной, расставшейся с духом самураизма Японии, куда вы скрылись? За страшной маской вонючего юнца скрывались те же самурайские страсти: агрессивность, ярость, беспощадность, что считались добродетелями в Японии — победоносной. Но откуда эти свойства у тех, на чью молодость легла тень от черного атомного гриба? Когда же Тайхо, нечеловеческим усилием выстояв, швырнул наземь иокодзуна Китанофудзи, страсти разом улеглись, словно никто не желал ему поражения. Дружные вежливые аплодисменты. Толпа вернула себе корректность, скромность, кротость. Все дело в том, что японцы, как никто, умеют смиряться с поражением.

И тогда Кунио лишний раз уверился, что необходим поступок, хотя бы один-единственный...

— Доброе утро, малыши! — раздалось из детской, это проснулись близнецы и сразу включили детскую передачу.

— Иттэмайримацу! — сказал Кунио громко, отворяя дверь.

— Иттэрасей! — отозвался тонкий голос жены, вдруг напомнивший голос Мицуэ.

Кунио подумал, что должен совершить свой поступок не ради погибшей сестры и всех обреченных разделить ее участь, не ради будущего своих и чужих детей, а прежде всего ради самого себя. И поступок этим не обесценивается, напротив, обретает предельную чистоту правды и неизбежности. Решившись на поступок, он перестанет быть роботом, разом оборвет все провода, по которым шли к нему веления сильных мира сего, узурпаторов мнений, идеологии, морали, узурпаторов времени, здоровья, чувств и мыслей малых на земле.

Возле дома пожилой газетчик с голыми, воспаленными глазами отлеплял от толстой пачки свежий, клейкий газетный лист и наугад совал в очередную руку. Газеты остро пахли мочой, Кунио замутило, как тогда в кокугикане. Вот один из главнейших и подлейших проводников воли власть имущих. Газеты куда вездливей и опасней радио и телевидения. Как замечательно объясняли они благостную необходимость атомных бомб, сброшенных американцами под занавес минувшей войны на разгромленную страну. Японское командование тянуло с капитуляцией, а коммунисты готовили вторжение в Японию. Американцам, естественно, ничего не оставалось, как для блага самих же японцев сбросить атомные бомбы... И как кричали, вопили, стонали, выли газеты, что никогда больше смертоносный

атом не осквернит земли, неба и вод Японии. Золотые слова! Только вот как быть с американскими военно-морскими базами, ну хотя бы в близлежащей Иокосуке, куда то и дело заходят атомные подводные лодки с термоядерным вооружением?.. Конечно, они приходят к берегам Японии с той же спасительной миссией, хотя Японии никто не угрожал. Но теперь, когда носители термоядерного оружия кишат в японских территориальных водах, естественно предположить, что другие члены «атомного клуба» — экое название подлое! — рассматривают длинную, узкую полосу суши, именуемую Японией, как возможную мишень для своих ракет с атомными боеголовками. Страшно, что судьба многомиллионного народа доверена тупости, слепоте и безответственности кучки демагогов, всевластных, как рок, от всеобщей покорности и привычки к невмешательству. Поступок Кунио необходим, чтобы наконец-то громко заявила о себе тьма тьмущая безвестных людишек, тех, что толпятся на улицах и площадях городов, заполняют магазины и бары, поезда метро и воздушки, кино и стадионы и что в первую очередь гибнут от стихий и войн, от эпидемий и новых патентованных средств.

Машина, как всегда, завелась с полоборота. Он оставил мотор работать и заглянул в багажник. Вынул металлическую канистру, встряхнул и поставил назад. Затем он некоторое время стоял, буд-то все умственные и жизненные силы внезапно покинули его и уцелела лишь телесная оболочка.

Кунио вздрогнул, обрел себя и продолжил череду необходимых физических действий: захлопнул и запер багажник, сел за руль и включил скорость. Машина мягко тронулась, это был единственно приятный момент в его шоферской практике: плавный, изящный и безопасный старт, затем начиналась тревога, он всегда опасался наезда, столкновения, особенно при повороте направо с пересечением улицы. Ставить машину под навес он тоже не любил, для этого приходилось пользоваться задним ходом и круто выворачивать шею — он не умел ориентироваться по зеркальцу над лобовым стеклом, — а его мучали отложения солей.

Кунио проехал мимо газетного киоска, червячок очереди по-прежнему упрямо полз за утренней порцией каждодневной отравы. Справа густой свежей зеленью стал парк. У решетки знакомый старик, окруженный детьми, колдовал над крошечной птичкой, доверенной судьбы. Кунио с силой затормозил, машина замерла как вкопанная, а кузов резко подался вперед.

Кунио выскреб из кошелька мелочь и опустил в узкую морщинистую ладонь старика. Тот улыбнулся, показав черные корешки в бескормных деснах, побренчал монетами и тихонько защелкал

языком. Перед ним на козлах лежала гладкая узкая доска, на одном конце стоял крошечный домик, на другом — нечто вроде сараюшки, посредине находился ящичек, набитый свернутыми в трубочку бумажками, и вделанная в доску копилка с узкой щелью. Старик присвистнул. Отворилась дверца, из домика высунулся розовый клювик, затем лиловая головка с бусинками глаз и наконец вся серая, с зелеными крылышками и черным хвостиком птичка-невеличка. Она запрыгала к сараюшке, раздвинула клювиком дверцы, там висел колокольчик на красной крученой нитке. Птичка-невеличка защемила клювиком нитку и несколько раз дернула, колокольчик издал слабый мелодичный звон. «Глас судьбы,— усмехнулся про себя Кунио,— моей судьбы, оттого он и тонок, как мышиный писк». Притворив дверцы, птичка подскакала к хозяину и замерла на комариных ножках. Он положил перед ней монетки с дыркой посредине, полученные от Кунио, и птичка столкнула их в щель копилки, затем деловито устремила к ящичку, порылась в нем и вынула свернутую в трубочку бумажку. Старик опять защелкал, заверещал, птичка прыжком повернулась к Кунио, положила перед ним бумажку, быстро заскакала в свой домик и скрылась за дверцей.

Кунио засмеялся, взял предсказание и пошел к машине. Лишь отъехав порядочное расстояние, развернул он бумажку. «Высшие силы покровительствуют Вашим начинаниям, с Вами бог и император». Похоже, предсказание было заготовлено еще до разгрома Японии, когда слово «император» звучало грозно и сладко. Впрочем, для стариков оно и сейчас сохраняет свое обаяние. Кунио скомкал бумажку, выбросил ее в окно и всем организмом ощутил, что никогда не совершит задуманного поступка...

— Киозимо норио се!..

Кунио Асами рывком отнял тело от матраса: новый день проникал в комнату золотистой пылью утренних лучей. Привычные, до одури привычные движения, привычная влага под мышками и на груди, привычная свежесть воды из плоско расплющенного, как клюв диснеевского утенка, крана умывальника, привычный мятный холодок зубной пасты, привычное прикосновение головной щетки к редующим волосам и чувствительной коже на темени; неизменное видение хлопчущей на кухне жены; завтрак: мисосури, зелень, рис и чай. («Я хотел бы суп из черных соевых бобов!») «Доброе утро, малыши!» — это проснулись близнецы, подняли с подушек свои черные теплые головы...

В прихожей на телефонном столике рядом с пожелтевшей

программой соревнований по сумо лежала телеграмма, извещавшая о смерти матери. Мать скончалась ровно через неделю после похорон Мицуэ: приняла слишком большую дозу снотворного. Телеграмму отправили соседи матери, они же предали земле ее тело. К великому их сожалению, ждать приезда Кунио не представлялось возможным: тело обнаружили лишь на третий день, и нельзя было медлить с похоронами. Мать покончила самоубийством, в этом не было сомнений. Она дала себе ровно неделю испытательного срока: приумолкнет ли в ней лютая тоска по дочери, ощутит ли она в себе хоть малую способность жить дальше. Она поняла, что это безнадежно, и простилась с жизнью. Она не оставила записки, не попрощалась с Кунио, чтобы он не думал о том страдании, которое привело ее к самоубийству; пусть считает, что она не рассчитала дозу люминала. Кунио казалось — это он убил мать. Он не совершил своего поступка, и вот новая жертва. Он понимал вторым умом, что это чушь собачья, он вовсе не причастен к смерти матери, и поступок его мог лишь ускорить ее гибель, но никак не предотвратить...

— Иттэмайримацу!..

— Иттэрасей!..

Солнце. Голубое шелковое небо. Запах океана. Мать была очень маленькой женщиной. Она всегда носила национальную японскую одежду, затрудняющую дыхание. Чтобы облегчить дыхание, приходится горбиться, как бы перегибаться через тугой перехват obi. И мать всегда жила среди низенькой мебели, принуждающей к наклону, и детей она носила за плечами, на широком банте. В старости у нее вырос горбик, совсем пригнувший ее к земле. Она была такая крошечная, что издали ее принимали за ребенка, а вблизи она казалась существом из сказки — горбатый, дряхлый гномик с какой-то зеленоватой щетинкой на изморщиненном личике. Но в мизерном, искривленном, изношенном тельце билось живое, любящее сердце, и сердце не выдержало гибели родного существа, захотело смерти. Наверное, совсем немного порошков понадобилось матери, чтобы перестать быть. И как же это беспощадно, что ей, почти бесплотной — мятый листик пергамента — сопутствовала в смерти унижительная неопрятность!..

Кунио завел машину и двинулся обычным маршрутом на службу. У ограды парка, как всегда окруженный детьми, стоял со своим лотком дрессировщик маленьких птиц. Старик улыбался с дежурной приветливостью. Птичка прыгала от своего домика к звоннице.

— Ваша птичка очень плохо предсказывает судьбу! — крикнул Кунио.

Дети испуганно уставились на Кунио, улыбка застыла на коричневом лице старика. Птичка как ни в чем не бывало зазвонила в колокол. Кунио рванул с места. Послышался жалобный визг и отчаянный женский вопль. Кунио оглянулся: пожилая женщина в темном кимоно причитала над желтой дворняжкой, похожей на лису.

Неужели я ее задавил? Собака, изгибаясь, пыталась лизнуть себя в палевый задик. Когда же хозяйка протянула к ней руку, чтобы приласкать, она сердито тяфкнула и упруго отскочила в сторону. Слава богу, кости целы, я просто толкнул ее колесом.

Ему вспомнилась странная выдумка детских лет, неоднократно возвращавшаяся и позже, в зрелые годы, когда ему было особенно плохо и одиноко: в казарме, в больнице, где он лежал с желтухой, в холостяцкой бессоннице перед женитьбой на Эмико. Однажды он повстречал на улице рослого пятнистого дога, его вел на коротком поводке высокий, сухой англичанин с изможденным и энергичным лицом пророка. Дог был ростом с теленка и пятнист, как ягуар, только иной расцветки: белое, в голубизну, поле, шоколадный крап. Массивная голова то вскидывалась на крепкой, красивой шее и с брылей тянулись нити слюны, то поникала, словно под бременем глубокого раздумья, напрягалась, вздрагивала кожа з узких пахах, дог был полон трепещущей жизни, грозной готовности к взрыву и странной тайны: то ли святой, то ли разбойник. И маленький Кунио, мгновенно влюбившись в дивного дога, погладил его по теплой гладкой голове. Хозяин что-то крикнул испуганно-зло и натянул поводок. Дог оскалил пасть, клацнул желтыми клыками и, задышливо хрипя, потянулся к мальчику крутым надбровием в детскую ладонь и заворочал головой, закинув на руку Кунио клейкую ниточку слюны. Догу тоже почему-то полюбилися маленький японский мальчик. С тех пор этот дог много-много раз являлся Кунио перед сном. Он стал его другом, преданным, надежным, понимающим с первого взгляда. Чтобы им проще было общаться, догу пришлось встать на задние ноги, и Кунио старательно придумывал особые приспособления, чтобы дог мог надеть ботинки или хотя бы деревянные сандалеты. Он изобрел искусственную ступню, надевавшуюся на лапу вместе с тугим эластичным носком. Остальная одежда дога, позволявшая ему являться в любом обществе, состояла из черно-голубого кимоно и басконского берета с прорезями для ушей. В мечтах Кунио они были неразлучны и непобедимы. Они посещали ночные бары, чемпионаты сумо и дзюдо, ездили в Хаконе, где принимали серные ванны, и на другие модные курорты, их постоянно окружали красивые женщины и веселые друзья. Слу-

чалось, на них нападали разбойники, гангстеры и просто хулиганы, дог пускал в дело свои могучие клыки, и враги обращались в позорное бегство. Они все делили пополам, даже любовницу, стриженную под мальчика одноклассницу Кунио. В этой выдумке не было ничего дурного, ведь они только защищали Марико от уличных мальчишек, носили ее учебники, иногда по очереди целовали в стриженую голову.

Самое же странное, что и в зрелые годы Кунио на полном серьезе мечтал об этом необыкновенном четвероногом друге, прочно ставшем на задние лапы. Дог приходил к нему в казарму мудрым армейским капитаном в бессонные часы между отбоем и воздушной тревогой — кошмаром солдатских ночей; он являлся Кунио пожилым пенсионером-инвалидом в годы послевоенного неурядиства и вселял в Кунио надежду и веру в жизнь; скромным, но полным достоинства бухгалтером навещал он Кунио, ставшего семейным человеком, но так и не обретшего спокойного сна, — уж не он ли заронил в Кунио мысль о поступке?..

В каком одиночестве мог возникнуть этот образ и какая потерянная наделила его столь долгой жизнью? Люди страшно разобщены. Как-то он увидел в витрине магазина книгу «Одиночество бегуна на длинной дистанции», хотел купить, но раздумал, боясь разочарования: ведь больше того, что заложено в цементащем названии, не скажешь. Да, мы все бегуны на длинной дистанции жизни и все безмерно одиноки, ибо не можем остановиться, подождать других бегущих и отыскать сообща какую-то важную цель.

По улице, стуча деревяжками сандалет, мягко ступая каучуком и синтетической резиной, твердой кожей, мчались бесчисленные стайеры; не поражаясь существованию себе подобных, не пытаясь взглянуться во встречное, быть может, единственное лицо, обведенные магическим кругом одиночества, позволяющего не замечать материального прикосновения в толчее к чужой плоти, совершают свою ежедневную круговерть одушевленные песчинки мироздания на пути к последнему вечному одиночеству. Их разобщенность, неспособность к самостоятельному объединению и позволяют власть имущим вертеть ими в любую сторону, лишая памяти о вчерашнем, вылизывать и оплевывать и вновь вылизывать одних и тех же идолов.

Сильный, властный сигнал отбросил Кунио к тротуару. Мимо мягко прошуршал шинами открытый шоколадный роллс-ройс. На голубых кожаных подушках сидел американский контр-адмирал с розовым рекламным лицом. Контр-адмирал заметил растерянность водителя маленького «Тойопета», слишком резко метнувшего

гося в сторону, и улыбнулся мягким ртом, уютно покоившимся между двумя розовыми сафьяновыми округлостями.

Шоколадный роллс-ройс растворился в солнечной дали, он шел по трамвайным путям в обгон потока машин, держа путь к Иокосуке.

Кажется, я начинаю понимать, в чем смысл моего поступка. Конечно, я никогда не совершу его, но думать о нем не возбраняется. Надо приостановить эту толпу бегунов на длинную дистанцию, дать им хоть миг раздумья, а для этого их надо удивить, поразить, ошеломить. Слушаться они способны лишь тех, у кого власть и деньги, всякому другому необходим смертельный трюк, чтобы привлечь внимание. Если бы можно было пройти по проволоке, натянутой между телевизионной вышкой и крышей «Принцотеля» в Токио, и, балансируя над бездной, кинуть в толпу какие-то слова! Но затем следует разбиться, оставив по себе на асфальте кучку розовой грязи, иначе толпа все равно забудет через мгновение все слышанное, а так что-то задержится в памяти. Ведь они все глухие, они слышат лишь транзисторы, они слепы и видят лишь телевизионные программы и спортивные зрелища, их мотыльковая память живет один день — от газеты до газеты... Он по-прежнему не мог представить себе реальных следствий своего поступка, но он знал теперь, что самый замысел был верен.

Кунио подъехал к бензозаправочной станции «Мицубиси». Он очень любил заправочные станции, здесь царил дух разумности — только необходимое, в должном, не чрезмерном количестве. Страна задыхалась от переизбытка материальных ценностей, всего выпускалось слишком много. Недавно он прошелся в Токио по торговому району Асакуса. Бесчисленные лавочки были завалены неправдоподобным количеством товаров. Кунио хотел купить плетеные летние туфли, но так и не сделал этого, ошеломленный безграничностью выбора: тут было сто, двести, тысяча фасонов плетеных туфель из кожи, замши, пластиков, веревок, с округлыми, квадратными, острыми, острейшими, скошенными, загнутыми вверх, как у средневековых французских герольдов, а также с расплюсченными носами и вовсе без носов; туфли на шнурках, кнопках, пуговицах, молниях, ремешках, пряжках, мокасины и типа сандалет без задников; черные, белые, коричневые, желтые, красные, цвета жженого сахара, оранжевые, кремовые, серебряные, небесной лазури и разноцветные; лакированные, юфтевые, глубокие и плоские, рассчитанные на высокий и низкий подъем, на плоскостопие и кривизну ступни, с пробковой и перлоновой прокладкой. У Кунио закружилась голова, и он поспешил вырваться из жуткого торгового рая.

Но заправочными станциями еще не овладела страсть к чрезмерности, желание погубить соперника безграничностью преysкуранта, шарлатанским варьированием одного и того же. В нужном для дела количестве стояли на полках красивые желтые банки с машинным маслом, ярко-красные жестянки с полировочной жидкостью, разноцветные банки с краской и лаком, канистры разной вместимости из железа и пластмассы и прочие предметы первой дорожной необходимости.

Пока заправляли машину, Кунио присмотрелся к канистрам. Он всегда любил бледно-розовый цвет: это цвет белого голубя на восходе, это естественный цвет нежного фламинго. Он выбрал маленькую пятилитровую канистру и проверил пластмассовую пробку. «Не пропускает?» — спросил он продавца. Тот сделал испуганное лицо. «Как можно?» — и сокрушенно развел руками. Кунио дал заправить эту маленькую канистру и поехал на службу.

Да, все люди одиноки, но разве может сравниться их одиночество с той потерянностью, что достанется ему, когда он выйдет на дистанцию своего поступка... «А, черт! — сказалось в нем с тоской,— но ведь лишь когда я думаю о своем поступке, я перестаю ощущать одиночество, и все чужие люди становятся мне слезно близки, и это правда, настоящая правда, она у меня в кишках...»

Это и в самом деле началось в кишках, их больно скрутило, затем спазмой свело живот и толкнулось по пищеводу к горлу. Он едва успел нагнуться, иначе бы его стошнило прямо на руль и лобовое стекло. Весь утренний завтрак, который он даже не успел переварить, остался на полу машины: гороховый суп, овощи, рис. Но Кунио казалось, что его вырвало поступком...

Пришлось заехать в тихий проулок и с помощью обтирочных концов и старых газет, случайно оказавшихся под сидением, прибрать в машине...

...— Киодзимо норю сел!

Кунио открыл глаза. Все то же, жизнь начинается заново. Сейчас он встанет, сменит спальную одежду на легкое кимоно, умоется, почистит зубы, проведет электрической бритвой по гладким щекам, проглотит завтрак: гороховый суп, овощи, рис, чай, услышит из детской утреннюю передачу для младших школьников, наденет костюм, рубашку, повяжет перед зеркалом галстук, крикнет жене: «До свиданья», услышит ее ответ и поедет на службу мимо старика с умной птичкой, по знакомым улицам, в привычном, хотя и всегда тревожном потоке машин...

Ему не хотелось вставать, не хотелось одеваться, завтракать и ехать на службу. Не хотелось видеть жену и думать о детях, ему ничего не хотелось. Он был пуст внутри, как испорченный лесной орех,— под толстой и твердой коричневой кожурой вместо ядрышка — гнилой дымок. Он избавился от ужаса последних дней, но и от попытки придать смысл своему существованию он избавился тоже. Он уже не мог думать ни о Мицуэ, ни о матери, потому что предал их. И близнецов он предал, и жену, и всех мечущихся по улицам, тоскующих на набережных, бредущих сельскими дорогами, спящих под черепичной или соломенной крышей, потеющих на рисовом поле, ловящих рыбу и добывающих полезные ископаемые из недр, всех стоящих у станков, печей и топок, корпящих над бумагами, потому что они не знают, как поступить, они не нашли своего поступка, даже не догадываются, что есть поступок, доступный обычному трудовому муравью, что можно с чего-то начать, а он нашел такой поступок, но не удержал в себе, выbleвал вместе с завтраком в машине...

За завтраком он спросил жену:

— Что у тебя пригорело?

— Я ничего не жарила,— отозвалась она удивленно.

— Не понимаю,— сказал он,— пахнет горелым.

Жена втянула воздух деликатно прорезанными ноздрями, открыла духовку газовой плиты, заглянула туда.

— Ничего нет.

— Бог знает, что такое! Ужасно несет горелым!

Она сделала жалкое лицо.

— Ну что ты меня мучаешь?

Запах, только что ломившийся в ноздри, забивавший горло, разом пропал.

— Прости, пожалуйста, мне просто показалось...

...На опаловой глади бухты темнело громадное, долгое тело атомной подводной лодки с нежным именем «Мермейд». Команда лодки вбивала каблук ярко начищенных башмаков в поплывший асфальт возле ворот военного порта.

Двадцатилетний матрос Джонни Браун отстал от товарищей, ему хотелось один на один встретить обетованную землю моряков, именуемую Японией. Он был наслышан об утонченной японской деликатности, несравненной предупредительности к чужеземцам, о ласковой покорности маленьких японских женщин и мечтал о нежных приключениях.

Джонни был слишком взволнован, чтобы охватить расстилаю-

щуюся перед ним панораму. Мерцало огромное, пустое, синее небо, серебристо переливалась стрельчатая листва невиданных деревьев, кочевряжились на стенах домов иероглифы, напоминавшие пауков, странное безлюдье наполняло душу смутной тревогой, и он не мог взять в толк, откуда же придет к нему ожидаемое счастье? Потом на пустынной площади появилась маленькая красная машина. Не доезжая шагов десяти до моряка, машина остановилась. Из нее вышел коротышка японец, довольно прилично одетый: серый костюм в полоску, одного цвета галстук и платочек в кармашке, узконосые замшевые туфли. «Допотопные копыта!» — отметил про себя Джонни. У японца был белый ровный пробор в жгуче черных и блестящих, как от бриллиантина, волосах, неровные голубоватые зубы все до одного открывались в улыбке. А японец не переставал улыбаться, и хотя рот у него был нехорош, улыбка показалась Джонни симпатичной, и он тоже улыбнулся японцу.

Под мышкой у японца был рулон бумаги, похожей на обойную. Он стал разворачивать этот рулон, чтобы Джонни мог прочесть надпись, сделанную черной тушью по-английски. Джонни похолодел от сладкого предчувствия. Японец развернул свою писанину, это не было рекламным проспектом турецких бань, тайного дома, опиумной курильни. «Хиросима не должна повториться. Атомному оружию не место у берегов Японии. Оставьте нас!»

Джонни Брауну приходилось слышать о подобных выходках, порой случавшихся в разных странах, где базировались американские войска. Он думал, что поводом служило или дурное поведение подвыпивших солдат, или опасные заявления чересчур воинствующих генералов. Но он, Джонни, вел себя тихо и прилично, он ненавидел войну и плевать хотел на атомную бомбу. Он шел сюда с открытым сердцем. Вот оно, хваленое японское гостеприимство! Огорчение сменилось гневом, Джонни чувствовал, как потяжелели кулаки. Дать ему по голубым зубам, чтоб научился вежливости, лилипут несчастный!..

Японец положил бумагу на радиатор, она тут же свернулась в рулон. Надпись исчезла, и Джонни подумал: не оставить ли без внимания эту вонючую выходку, уж больно не хочется начинать знакомство со страной мордобоем.

Японец достал из машины небольшую розовую пластмассовую канистру, открыл пробку и стал поливать себе на голову. Это было так нелепо и смешно, что вся злость покинула Джонни, — да, с японцами, видать, не соскучишься. Японец опорожнил канистру, его серый костюм намок и потемнел. Он осторожно поставил канистру на землю, чиркнул спичкой и вдруг весь, с головы до пят, вспыхнул синим пламенем. Вот это был фокус. Ветер, тянущий

с океана, подхватил голубой огонь, сдул с японца, так что на миг они существовали поврозь: человек и голубое пламя, как-то странно повторяющее очертания его фигуры, а затем вновь слились. Японец стал прыгать, корчиться, извиваться, он хотел скинуть голубую кисею, окутавшую его тело, но не тут-то было! И Джонни засмеялся, произвольно защищаясь смехом от гибельного ужаса, а японец истошно закричал, и Джонни закричал тоже и кинулся бежать. Когда же его поймали, скрутили и запихнули в санитарную машину, он опять начал смеяться. Он до сих пор смеется в психиатрическом отделении военно-морского госпиталя, смеется до изнеможения, до жгучей боли в животе, горле и груди, и тогда ему дают таблетки, и он засыпает, и наступает отдых его измученному смехом телу.

СО Д Е Р Ж А Н И Е

ПЕРЕКУР. Повесть	5
ДЕЛО КАПИТАНА СОЛОВЬЕВА. Рассказ военного юриста	71
МАЛЕНЬКИЕ РАССКАЗЫ О БОЛЬШОЙ СУДЬБЕ	89
ЕДИНСТВЕННЫЙ ПОСТУПОК. Быль ,	109

Юрий Маркович Нагибин

П Е Р Е К У Р

Редактор **Е. Н. Янковская**
Художник **Н. И. Крылов**
Художественный редактор **Э. А. Розен**
Технический редактор **В. А. Авдеева**
Корректор **Г. М. Ульянова**

Сдано в набор 2/XII-69 г. Подписано к печати 23/III-70 г. Формат бум. 84×108¹/₃₂. Физ. печ. л. 4,0. Усл. печ. л. 6,72. Уч.-изд. л. 7,58. Изд. инд. ЛХ-502. А03058. Тираж 50 000 экз. Цена 26 коп. Бум. № 1.

Издательство «Советская Россия».
Москва, К-12, пр. Сапунова, 13/15.

Книжная фабрика № 1 Росглаволиграфпрома
Комитета по печати при Совете Министров
РСФСР, г. Электросталь Московской области,
Школьная, 25. Заказ № 943.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Издательство просит отзывы об этой книге и пожелания присылать по адресу: Москва, Центр, проезд Сапунова, 13/15, издательство «Советская Россия».



Цена 26 коп.